



Андрей Колесников

*Опыт
свободной жизни*

Юрий Сенокосов,
Елена Немировская
и Московская школа
гражданского
просвещения

*Жизнь одна, жизнь мала — нет времени
жить и поступать не свободно, понарошку.*

МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ,
из записных книжек (1972–1984)

Жизненный опыт Лены Немировской и Юрия Сенокосова свидетельствует не только о важности свободы, но и о том, что она значима сама по себе, без всяких «если». Причем свободные люди не только способны к самовыражению и реализации своих способностей — они также создают вокруг себя обстановку свободы. Созданная Школа помогает людям стать не только просвещеннее, но и терпимее, лучше понимать других людей, уважать их права и свободы.

АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

Страх вернулся в повседневную жизнь России. Эта отлично написанная книга Андрея Колесникова рассказывает о людях, которые нашли способ преодолеть страх в СССР и не подстроились под новые обстоятельства путинских лет. Из советских людей они не превратились в антисоветских, они стали и остаются свободными людьми.

АНДРЕЙ СОЛДАТОВ, ИРИНА БОРОГАН

Нельзя смотреть в будущее с тоской — тем более со страхом — и быть свободным человеком. Свобода невозможна и без общения — в одиночку или за железным занавесом. Так Лена Немировская и Юрий Сенокосов построили свою жизнь. Так они построили Школу. Об этом и книга.

МИХАИЛ ФИШМАН

Андрей Колесников

*Опыт
свободной
ЖИЗНИ*

Юрий Сенокосов,
Елена Немировская
и Московская школа
гражданского
просвещения



2017

УДК 821.161.1 – 3
ББК 84 (2 = 411.2) 6 – 4
К 603

Колесников А.

К 603 Опыт свободной жизни. Юрий Сенокосов, Елена Немировская и Школа гражданского просвещения [Текст] / А. Колесников ; Школа гражданского просвещения. – Киров : О-Краткое, 2017. – 192 с., 64 с. ил.
ISBN 978-5-91402-222-5

«Опыт свободной жизни» – это история позднесоветской и постсоветской России, показанная через биографию двух ведущих российских интеллектуалов, семейной пары Юрия Сенокосова и Лены Немировской, основавших самый амбициозный проект в сфере гражданского просвещения, Московскую школу политических исследований (ныне – Школа гражданского просвещения).

Эта книга – история о том, как московская девочка из семьи репрессированного высокопоставленного чиновника и мальчик, выросший в далекой российской провинции бок о бок с высланными с родины чеченцами и пленными немцами, преодолели в себе страх сталинской эпохи и немоту эры позднего СССР и стали свободными людьми в несвободной стране. Судьба сводила их с лучшими из лучших, на их мировоззрение среди прочих повлияли самый значимый философ советской поры Мераб Мамардашвили и священник-экуменист отец Александр Мень.

Став свободными, Сенокосов и Немировская уже на излете советской власти начали учить свободе других, обретая свою миссию в гражданском просвещении. Сотни их учеников до сих пор впитывают в себя ценности гражданского общества и готовы строить его даже в условиях существования в авторитарном государстве.

УДК 821.161.1 – 3
ББК 84 (2 = 411.2) 6 – 4

ISBN 978-5-91402-222-5

© А. Колесников, текст, 2017
© Школа гражданского просвещения, 2017
© Оформление. О-Краткое, 2017

ДЕВОЧКА ИЗ АЖУРНОГО ДОМА. МАЛЬЧИК ИЗ ЧЕЧЕНГОРОДКА

Существенная и бóльшая часть жизни Лены до того, как она встретила Юру, Елена Михайловна Немировская – Юрия Петровича Сенокосова, прошла в знаменитом доме на Ленинградском проспекте в Москве, который за год до войны построил архитектор Андрей Буров.

Лена была девочкой из Ажурного дома: П-образное жилое сооружение задумывалось как типовое, строилось из бетонных блоков, и только ажурные решетки, изготовленные из подкрашенного бетона по эскизам Владимира Фаворского, придавали строению несомненное изящество, превращая его в элитное местожительство. И потом, не место красит человека, а человек – место. Чтобы прославиться дому, орнаментированному как дорогое женское белье, оказалось достаточно того, что здесь жили Константин Симонов, прогуливавшийся по коридору 5 этажа в халате с трубкой во рту, и Валентина Серова.

Ажурный дом был придуман как слабое эхо иофановского Дома на набережной, поэтому и кухоньки тут были крошечные, приспособленные для перекуса и разогрева, – проектируемому советскому человеку дóлжно было питаться коллективно, в общественных местах. В результате квартиры в доме Бунова, разбросанные вдоль обширного коридорного пространства, не высоко котируются нынче на вторичном рынке жилья – мало кто готов ехать за атмосферой позднесталинской Москвы и смотреть на мир сквозь узоры Фаворского, призванные замаскировать банальность самой конструкции.

Что же до быта семьи Немировских, то это было царство женщин – бабушек, тетусек и мамы – принципиально хорошо организованного, вопреки социальным и политическим бурям за окном, вопреки посадке отца семейства в конце 1940-х; царство уюта, какой бывает в интеллигентных еврейских семьях. Или просто в тех семьях,

где строят быт так, чтобы он стал противовесом действительности, средством сопротивления ей. Алексей Симонов рассказывал, что его отец, Константин Симонов, «никогда не ел на газетке». Вот и в семье Немировских тоже никогда не ели на газетках, даже в самые тяжелые годы стол был накрыт белой скатертью.

В то же самое время в 100 километрах от Семипалатинска, вверх по Иртышу, в поселке Белоусовка, в рабочей семье, бежавшей в 1939 году из Свердловской области из-за угрозы посадки отца, рос мальчик. Сохранилась фотография середины 1950-х: Юра Сенокосов после переезда семьи в город Усть-Каменогорск, в 10-м классе, пижонская кепка. И – вызывающе белые штаны. Уже тогда белые штаны. Как теперь, до сих пор – белые брюки на внешне всегда элегантном Юрии Петровиче.

Кажется, это был тот самый 1955-й, когда мальчик, выросший в Чеченгородке, на окраине Усть-Каменогорска, среди ссыльных чеченцев, пленных немцев и японцев, связал с помощью соседа пьяного отца, бывшего мать, ушел из дома и принял решение уехать в Москву, навсегда. В буквальном смысле на крыше вагона поезда.

Внутри этого мальчика неизменно пребывало ощущение войны, даже когда она кончилась. 1 сентября 1945 года Юра пошел в школу. Но десятиклассники, вспоминает Юрий Петрович, собирались идти воевать. А еще раньше, в марте-апреле 1944-го, в Восточный Казахстан привезли чеченцев и ингушей. Выгрузили этих чужих людей с детьми из вагонов на привокзальную площадь в еще не сошедший снег. Они разожгли костер, сидели вокруг него и пели песни. Юра и его сверстники бегали на них смотреть.

Позднее, летом 1952 года случился конфликт чеченцев с приехавшими в город наемными рабочими. В Усть-Каменогорске ввели фактически военное положение. Автоматчики гнали чеченцев, жильцов саманных домов, к Иртышу, загоняли их в воду. Лежали раненые. Люди наблюдали за всем этим с крыш домов и говорили: «Война». И продолжали жить с ощущением, что война обязательно будет. Какая-нибудь, возможно, даже атомная.

Явная примета той жизни – насилие и ощущение невозможности распоряжения своей судьбой, несвободы.

Рядом, за колючей проволокой, рассказывает Юрий Петрович, жили пленные немцы и японцы. По выходным они играли с мальчишками в футбол, вырезали детям деревянные игрушки. А в будние дни их под конвоем выводили на работу, и он запомнил одного из них – высокого «блондина», отказывавшегося работать.

Девушка-чеченка вышла замуж за японца, несмотря на протесты и угрозы соплеменников. Не зная языка друг друга, они жили дружно, построили себе дом, работали в огороде, но... спустя два года девушку свои все-таки убили, японец исчез. Что там Шекспир...

В 1960-м, уже студентом-старшекурсником, Юрий ездил летом навестить родителей и во время остановки поезда в Новосибирске стал свидетелем тяжелой сцены. Солдаты с автоматами выводили из вагона человек тридцать, примерно три семьи чеченцев, решивших вернуться домой, в Чечню. Уже насмотревшийся на подлинную жизнь страны, во время студенческих каникул побывавший с концертной бригадой на Целине, в центральной России, Юрий запомнил на всю жизнь глаза чеченцев, полные бессилия и унижения. А ведь это было время кульминации оттепели.

Что объединяло девочку Лену из Ажурного дома в Москве и мальчика Юру из Чеченгородка на окраине Усть-Каменогорска? Скорее всего, страх перед войной, несправедливостью, насилием. Они вышли из шинели Сталина, точнее, уходили из нее. И изживание страха было свойством многих их сверстников, предметом рефлексии – о себе и стране, об устройстве государства и общества.

Однако не только опыт переживания насилия позволил этим двум людям прожить несколько исторических периодов русской истории – но и любовь. Десятилетиями, попутно восхищаясь друг другом, они делали общее дело. Не только свое, а в буквальном смысле общее – *res publica*. И вовлекли в него сотни не последних людей в стране и мире, созидавая гражданское общество. Сначала на своей кухне на Кутузовском проспекте, в доме, смотрящем на громаду гостиницы «Украина» и запомнившимся нескольким поколениям советских людей никогда не исчезающей очередью в магазин «Сантехника». Потом на семинарах основанной ими в 1992 году Мо-

сковской школы политических исследований (МШПИ), послужившей образцом для создания таких школ под эгидой Совета Европы в других странах; после начала преследований «иностранных агентов» она была вынуждена продолжать свою деятельность как Школа гражданского просвещения. А когда атмосфера в стране поменялась совсем уж радикальным образом, дискуссии снова переместились за круглый стол старомодной гостиной квартиры Лены Немировской и Юрия Сенокосова. История гражданского общества сделала своего рода круг. Но не закончена.

Внутри совместной своей биографии они прожили несколько жизней. Идеи, ценности, люди, встречавшиеся им, уникальны, их биографии или легендарны, как у философа Мераба Мамардашвили, или почти неправдоподобны, как у переводчицы с итальянского Юлии Добровольской; трагичны, как у писателя Владимира Кормера, и успешны, как у Отара Иоселиани. А Елена Михайловна и Юрий Петрович одинаково уверенно входят в Палату лордов Великобритании, где заседает их друг и эксперт Школы, биограф Джона Кейнса сэра Роберт Скидельский, невысокий, торопливо и бурно мыслящий вслух человек; приходят в гости в пригороде Стокгольма к бывшему исполнительному директору Нобелевского комитета Михаэлю Сульману, хлопчущему в это время на кухне и выставяющему на стол большую бутылку буровато-оранжевого аквавита.

Эти люди и атмосфера, которую они создавали и создают, культурные коды и слова, которыми обменивались, наверное, уйдут под воду времени, как Атлантида. Но общество граждан – на кухне ли, на семинаре, в головах и делах – останется. И ценность гражданского просвещения тоже останется.

Юра и Лена ассимилировали сущности людей, с которыми встречались, работали, дружили. Были на их пути люди-ключи, люди-поворотные пункты, учителя. Главные – священник о. Александр Мень, философ Мераб Мамардашвили, социолог Юрий Левада, писатель Владимир Кормер, переводчик Юлия Добровольская. Характерный круг профессий – маленькая модель Школы для воспитания гражданина: священник, философ, социолог, писатель, переводчик.

Впитав историю и людей, Сенокосов и Немировская вернули следующим поколениям свое понимание страны и изменили сотни людей вокруг себя – сколько смогли за четверть века существования Школы.

Кроме кухни и гостиной, семинарского зала в аляповатом постсоветском пансионате «Голицыно», бесчисленных площадок для заседаний в западных столицах и в российской глубинке, не меньшее значение при этом имели издаваемые Школой книги и журнал. Сенокосов – прирожденный издатель. Характерная для книжника манера: по ходу обсуждения кидаться к книжной полке, недолго и прицельно в ней рыться и отыскать – с помощью книги – иллюстрацию к мысли. И сколько же отменных книг и номеров журнала он успел подготовить к печати, тем самым тоже переменяя для кого-то идейную среду. Сама судьба Юрия Петровича (*далее – Ю. П.*) – опровержение тезисов «бытие определяет сознание» и «среда заела». Бытие не «усыпило», а пробудило сознание, а вместо подчинения среде – ссыльнопоселенческой, пролетарской, общежитской – было ее преодоление. Просто опытом своей жизни.

Мальчик из Чеченгородка, а затем иногородний строитель в Москве, обитатель рабочей общаги в Измайлово, сравнивает пробуждение своего сознания с уходом человеческих сообществ от мифологического мышления и наступлением «осевого времени» по Карлу Ясперсу.

Две очень разных харизмы – по-своему властная Лены и обволакивающая – Юры, построили Школу. Даже если эта Школа физически исчезнет, она останется – в том слое культуры, который не дает стране осесть, как дому, израненному перепланировками, и развалиться от отсутствия связующей среды гражданского общества.

БЫТЬ КАК ВСЕ

Что такое арест отца для ребенка? Это событие, которое определяет жизнь, делит биографию на до и после. Превращает внешний мир в бездушную силу, которую не может остановить ничто, в том числе и прежде всего твое отношение к происходящему. Как это бывает? Как у Трифонова во «Времени и месте», когда мальчик, стоящий на перроне и охваченный непонятной дрожью, держит отца за палец и канючит: «Ты вернешься к восемнадцатому? Ты мне обещал! Ты мне обещал!». Потом они с матерью ждут телеграмму, а телеграмму не несут... Отец мальчика «не вернулся никогда».

Фотографию отца Лены я впервые увидел на фотоклейке в переведенной с английского замечательной книге бывшего посла Великобритании в России Родрика Брейтвейта «Москва 1941»: полный, сравнительно молодой человек, чей мирный и домашний облик резко контрастирует с военной формой, встав из-за рабочего стола, позирует фотографу. Михаил Немировский, председатель Краснопресненского райсовета города Москвы в годы войны.

Инженер Немировский до войны работал заместителем директора завода металлоизделий «Пролетарский труд». Это предприятие до сих пор существует на территории бывшего Краснопресненского района, в Шмитовском проезде, недалеко от бывшего райкома ВКП(б). Первым секретарем этого райкома с начала войны стала Нина Васильевна Попова, женщина чуть за тридцать, рано пошедшая по советской и партийной линии и свою карьеру в послевоенные годы делавшая как одна из знаковых советских женщин-управленцев – секретарь ВЦСПС, затем председатель Комитета советских женщин, потом руководитель президиума Советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. А тогда, в начале Великой Отечественной, ее перебросили на Краснопресненский райком. Предисполкома Немировский, возглавлявший с первых дней войны силы гражданской обороны, и Попова вошли в подпольный комитет Красной Пресни – по сути дела это

были отряды сопротивления, создававшиеся в октябре 1941-го на тот случай, если бы немцы взяли Москву.

Война заканчивалась. Все остались в живых. Лену вернули из эвакуации обратно в Ажурный дом.

Именно с этой точки Ленинградского проспекта начинался маршрут пленных немцев, которых провели по Москве 17 июля 1944 года. Лене не было и шести лет, но она запомнила этих, как говорит сейчас, «несчастных людей».

Предтечи нынешних политтехнологов, пребывавшие на усиленном пайке, все в званиях, синих околышах, скрипящих сапогах, расстарались. Масштабное зрелищное постановочное мероприятие – накормить голодных немцев, чтобы они страдали от диареи по ходу действия. Затем – пустить поливальные машины. Ну и, конечно, специфический юморок содержался в названии операции: «Большой вальс» – популярнейший фильм 1938 года (советский прокат – 1940-й) об Иоганне Штраусе, его жене и любовнице с Милицей Корьюс в главной роли (кстати, избежавшей встречи с Советами благодаря эмиграции из Эстонии в Соединенные Штаты).

В одном только постановщики мероприятия 1944 года обманулись. Они продемонстрировали мощь наших советских побед. И эта часть действия удалась, хотя и в противоречии с Женевской конвенцией, не допускавшей оскорблений и издевательств над пленными. Не достигнута была другая цель: провокация агрессии широких масс – в полном соответствии с учебником психологии. Во время прохода немцев стояла гробовая тишина. Победители смотрели на униженных побежденных. И не обнаружили в себе злости. Только горечь. Оттого, что по улицам Москвы шли оболваненные или просто принудительно согнанные на войну в основном очень молодые люди, ничем не отличавшиеся от наших мальчиков, в которых они стреляли. Во всяком случае, рогов и копыт у пленных не обнаружилось. По улицам Москвы хотели провести фашистов, а провели немцев. Небольшая по тем временам разница – но разница. В этом смысле эффект получился обратный, неправильный. Эта акция очеловечила «проклятую орду», которая была анонимной, а здесь вдруг обрела не одно лицо, а десятки

тысяч лиц обманутых и униженных людей. Как потом обманутыми и униженными окажутся те граждане СССР, которые вернутся из немецкого плена и немедленно обнаружат себя в сталинских лагерях.

Михаил Немировский, соратник московских районных и городских начальников Нины Поповой, Никиты Хрущева, будущего секретаря ЦК КПСС Ивана Капитонова, после войны тоже оказался в сталинском лагере. За него хлопотали. Не слишком удачно. Когда Немировский после смерти Сталина вернулся из ГУЛАГа, при поддержке Капитонова его устроили на работу в одном из строительных управлений Москвы.

Что такое была жизнь в послевоенном Ажурном доме? С одной стороны, арестованный отец. Письма Абакумову, Берии, Сталину. Которые никогда не доходили до Абакумова, Берии, Сталина. С другой стороны, в этом не было чего-то совсем уж экстраординарного: как и в миллионах других семей, как и в семье Юрия Сенокосова, жизнь шла своим чередом, будто бы отдельно от горя и страха. В некотором смысле страх, несправедливость, аресты, смерть были частью «нормальности»: в школьном классе Лены только у двоих детей были отцы – живые и не репрессированные. Но в целом у Лены сохранялось ощущение, что ее жизнь шла не как у всех. И вот почему.

У всех коммунальные квартиры. А у Лены – отдельная. Тетушки и бабушки. Любовь в семье. А хотелось быть не еврейкой из домашней «оранжереи» с пианино и немецкими философами в подлиннике, а простым советским человеком. Не быть представителем какого-то специального сословия, которому, как сказал глава «Мемориала» Арсений Рогинский, в любой момент или что-нибудь припишут или что-либо «простят». А быть как все – частью большого нерасчленного целого. И значит, обеспечить себе защиту от внешнего мира. Когда папу забрали, бабушка рвала еврейские книги – именно для этого: чтобы защититься. Еврейские книги были частью личности, и потому компрометировали. Не говоря уже о том, что государственный антисемитизм набирал обороты.

А еще была школа, женская – этакий социальный плавильный котел, не то чтобы типичный, но встречавшийся во все времена совет-

ской власти. С одной стороны, дети заводских коммуналок, с другой – дочери актрисы Татьяны Окуневской, поэта Евгения Долматовского, министра культуры и одно время заведующего Агитпропом Георгия Александрова, который вскоре пал жертвой громкого сексуального скандала с «гладиаторами» (от слова «гладить»). В школе учились и дети известного государственного деятеля Дмитрия Шепилова, Петра Лидова (открывшего историю Зои Космодемьянской, автора очерка «Таня») и других жильцов дома, построенного еще до войны для работников газеты «Правда». Рядом, на Беговой улице, жили и писательские семьи.

Эта школа ничем не запомнилась Лене – были лишь два «милых» учителя – по математике и литературе. Училась хорошо, но не была отличницей в этом, по ее выражению, «патологически советском» учебном заведении.

И уже в школьные годы приходилось «все понимать»: дорога в гуманитарии по причине пятого пункта была закрыта, нужно было выбирать какую-нибудь «твердую» профессию.

Совсем другой вид на мир – но исключительно в бытовом смысле – открывался из Чеченгородка. Электричество там появилось только тогда, когда Юра учился в 6-м классе. От радости 150-ваттную лампу не выключали – даже спали при свете. У мальчика уши болели от электричества.

Детская память, да и вообще человеческая память состоит из всполохов. Случайных или формирующих представления о жизни. В комнате за занавеской иногда ночевали какие-то люди – вероятно, бежавшие от продолжавшихся в стране репрессий. Впечатление убогости и пустоты от комнаты школьного приятеля – отец не вернулся с фронта. Несколько книг запрещенного в то время Достоевского в комнате знакомого сапожника – ощущение полуподполья...

И вот после всего этого... 14 июля 1955 года поезд Алма-Ата – Москва, шедший пять суток, под впечатляющую приветственную музыку Дунаевского «Московские огни» прибыл в город Москву. Два приятеля, 17 и 18-летние парни – Юра Стацур, юный атлет, и Юра Сенокосов, юноша, одетый в саржевые шаровары и майку, прибыли покорять столицу. Арбат, Библиотека имени Ленина, Кремль. Мастера чечетки решили поступать в актеры, но провалились –

30 человек на место все-таки. Не приняли и в цирковое училище на клоунское отделение. Тогда друзья решили завербоваться на Шпицберген – но и в экспедицию их не взяли из-за возраста.

Следующим отчаянным шагом стала попытка уйти в армию, но снова помешал возраст. Остался один путь – «Главмосстрой», СУ-73, рабочее общежитие на 8-й Парковой улице в Измайлово, комната на 20 человек, стройка. Тогда строительных площадок было много: «Детский мир», стадион «Лужники», банно-прачечный комбинат на Таганке... Сенокосов попал в «Главмосстрой» вовремя – уже в следующем году иногородние потеряли возможность остаться в столице.

...Смотришь на Сенокосова Юрия Петровича, рафинированного интеллигента, и не можешь поверить, что перед тобой сидит плотник 4-го разряда, такелажник, человек, зарабатывавший на жизнь характерными национальными танцами и объездивший со студенческим ансамблем в конце 1950-х всю страну. Спирт и строганина в Новый год на острове Диксон, тонны выловленной во время пуги рыбы на западном побережье Камчатки («а в Москве рыбы не было...»), выступление на крейсере тихоокеанского флота, на пограничных заставах в горах Тянь-Шаня...

Бригада строителей была небольшой; зимой долбили под будущий котлован мерзлую землю отбойными молотками или жгли костры, чтобы земля оттаяла; летом такелажничали...

Потом 1956 год. XX «антисталинский» съезд, Венгрия, самоубийство Александра Фадеева. В 1957-м на некоторых факультетах МГУ отдавалось предпочтение людям «с производства». Так Юрий Сенокосов стал студентом исторического факультета МГУ.

Юрий Петрович вспоминает мрачных людей, вернувшихся из лагерей, начинавших учиться в университете еще до посадки и обедавших особняком в столовой МГУ на Моховой, где в то время были бесплатные хлеб, чай и капуста. Тогда он еще не знал, что в середине 1950-х из Мордовии тоже вернется его будущий тесть. Эти люди в столовой молчали. Как молчал потом отец Лены, не желая разговаривать о годах, проведенных в лагере.

И вот здесь важный момент – речь о поколении предшественников Лены и Юры. О поколении их родителей.

«Надо уметь держать день», – говорила мама Лены, скорее всего, не зная о латинском «Carpe diem!» и о том, что, в сущности, за близкую мысль – «Seize the day!» – получил Нобелевскую премию американский писатель Сол Беллоу. Она была жизнерадостным человеком, в доме, и не только в доме, ее звали не «мама» или «бабушка», не по имени-отчеству, а просто – Полина.

Говорила афоризмами или, если учитывать еврейское происхождение, изъяснялась хохмами, в подлинном значении этого слова – мудростями. Например, когда бросила учиться экономике, сказала: «Это не прибавит мне мужчин!».

Первая подруга ставшего зятем Юрия. Проводить время с ней и ее подругами любил Мераб Мамардашвили. Она выписывала высказывания великих людей про взаимоотношения мужчин и женщин. Однако Канта, подсунутого ей зятем – на ту же тему, не приняла: «Что ты мне дал? Я ничего не поняла!».

Была публичным человеком. Обустроила подъезд в доме на Кутузовском, куда семья переехала в 1975 году. Кормила собак и голубей. С некоторым сомнением поглядывала на отдельных соседей: «Ненавижу стариков!». Когда ее увозили – навсегда – из комнаты, где теперь в доме Сенокосова-Немировской гостиная окнами на «Украину», произнесла: «Сейчас крашу губы – и поедем».

Умерла в 90 лет, пережив все, что «положено» женщинам ее поколения. В том числе больше пяти лет разлуки с мужем. Арест близкого человека – это испытание. Его возвращение и встреча – тоже нелегкий труд для всех. Михаил Немировский молчал. Страх остался – ему не понравилось, когда в доме появился том Солженицына. По выходным до переезда на Кутузовский проспект он ходил в церковь на Соколе. Пережил инсульт – вряд ли есть что-то хуже этой болезни.

Этому поколению пришлось тяжелее всех – оно застало все эпохи советского периода: войну и лагеря, иллюзии и их крушение, медленное угасание стержневой идеи, на которой держалась система. «Они принесли интеллектуальные, душевные, физические жертвы и спасли страну, – говорит Лена. – А их дети, шестидесятники, сказали “нет” насилию».

НЕ БЫТЬ КАК ВСЕ

Сказать «нет» насилию – звучит просто и в то же время пафосно. Так иногда даже в науке самоочевидными кажутся сложные выводы. Но это «нет» не валится с неба. Оно воспитывается, в том числе и в таких людях, которые, как Лена, просто по природе своей избегают острых углов.

Для начала надо было преодолеть в себе стремление быть как все. И начать добиваться того, чтобы не быть как все.

Лене нужен был нормальный крепкий советский вуз и внятная специальность. Например, строительный институт, факультет архитектуры, куда она поступила в 1957 году. Куда уж «тверже» для девушки с гуманитарными наклонностями, из теплой семьи, собиравшейся за столом в Ажурном доме...

Рождаясь, мы попадаем в водоворот жизни и когда пытаемся разобраться в этом водовороте, он начинает подталкивать к тому, чтобы не быть, как все. Например, экстравагантно одеваться. «Это у меня началось в институте», – говорит Лена Немировская. Очень важная тема, ее надо здесь зафиксировать, чтобы потом к ней вернуться.

А потом Лена «вдруг» вышла замуж. И надо было одновременно сдавать сопромат и рожать дочь. А затем – после этого типичного студенческого брака – разводиться и работать в организации с твердым названием «Проектстальконструкция».

Все три года, что Лена трудилась после окончания института инженером, ей было очень тоскливо. Как-то она ехала в троллейбусе и думала, как хорошо, должно быть, работать кондуктором, вагоновожатым, да кем угодно, только не инженером этих самых стальных конструкций. Но это еще не означало – не быть, как все. Надо было радикально поменять сферу деятельности и круг общения. Например, заняться искусствоведением и философией.

Лена устроилась на работу в Дом дружбы с народами зарубежных стран, который возглавляла та самая соратница отца, Попова.

В архитектурном смысле это еще более известное и замысловатое сооружение, чем Ажурный дом. Особняк Арсения Морозова стоит почти в начале проспекта Калинина. Рядом улица Грановского с именитыми жильцами, Библиотека имени Ленина, кремлевская больница, собственно Кремль.

Именно в Доме дружбы однажды Ю. П. увидел девушку, всю в зеленом, которая сидела за зеленым же столом и вела «круглый стол» уже известных в то время молодых людей. Среди них были Фазиль Искандер, Олег Чухонцев, Андрей Миронов, Марк Захаров, Юрий Зерчанинов. По словам Ю. П., он оказался там почти случайно, но девушка ему запомнилась – это и была Лена, однако встретились они по-настоящему лишь несколько лет спустя.

Для рефлексирующего советского человека в системе, где ничего не существовало кроме государства и вне государства, чрезвычайно важным оказывался круг общения. Социальных сетей тогда не было, как стоячее кафе «Аромат» не могло заменить современный «Жан-Жак», возникший почти на том же месте, так и Центральный дом литераторов и Центральный дом журналиста не могли стоять у истоков гражданского общества. Но вот неформальные коммуникационные сети, сложившиеся не в отсутствовавших кофейнях и Интернете, а в квартирах и на кухнях, и были протогражданским обществом и заодно служили площадками гражданского самообразования. При этом речь идет не о диссидентской среде, хотя с ней многие соприкасались, а просто о круге людей, стремившихся думать самостоятельно.

Разумеется, в таких кругах, будь они цеховыми, профессиональными или клубами по интересам, были и свои лидеры, которые количественно и качественно умножали коммуникации.

Это были люди-ключи. Человек-ключ образовывал, просвещал, становился примером для подражания и восхищения. Оказываться рядом, что-то обсуждать с ним было крайне важно и лестно для становящейся натуры. Для тех, кто чувствовал себя равным, особенно ценной становилась дружба. Такой человек давал ключи – к новым степеням свободы, другой жизни или иному ее стилю.

Не быть как все.

Такой человек может быть даже не учителем, не старшим товарищем, а другом и ровесником. Но от этого он не перестает находиться в статусе гуру.

У Юрия Сенокосова были важные круги общения – сначала клуб МГУ, затем философы 1960-х, которых он знал – от Александра Зиновьева и Юрия Левады до Ивана Фролова и Бориса Грушина. Были и друзья, оказывавшиеся людьми-ключами: Владимир Кормер, о. Александр Мень, Мераб Мамардашвили.

У Лены Немировской тоже была своя компания, работавшая, как расширяющаяся вселенная. Уже тогда случались семинары, от которых расходились «круги по воде». Семинар в 1965 году в Бакуриани дал много знакомств, писательских и кинематографических. Потом в квартире Лены в Ажурном доме однажды подрались Отар Иоселиани и Фазиль Искандер. Был и круг журнала «Юность»: Виктор Славкин (его пьесы ставились в театре-студии МГУ), Юрий Зерчанинов, корреспондент «Комсомольской правды», распространивший в начале 1958 года поступившую в редакцию газеты информацию о «снежном человеке», тот же Искандер. Эта жизнь не была подпольной, но и официальной, открытой, разрешенной ее тоже нельзя было назвать. Это был поиск модели свободной жизни.

Компании расходились кругами и пересекались. В конце 60-х друзьями Лены и Юры стали художники и музыканты: от Франциско Инфанте, Эрика Булатова и Ильи Кабакова до Олега и Тани Крысы, Альфреда Шнитке, Саши и Наташи Ивашкиных. Диссидентские круги своей внутренней иерархичностью казались Лене Немировской Центральным комитетом партии наоборот, перевернутым государством. Особенно солженицынский круг. Ей казалось, что в этих группах подавляется индивидуальность. А выйти из одного коллективного мира, чтобы окунуться в другой, не входило в задачи развития свободной личности.

В те годы Лена стала самостоятельным человеком. В том смысле, что стала свободной. Причем внутри системы. «Но я поняла и другое, – говорит она. – За эту свободу я должна была платить сама». Не коллективно, а индивидуально. Мыслить не в понятиях кружка, а шире, впитывая в себя людей и меняясь. Не претендуя на лидер-

ство или карьеру, а соответствуя самой себе, понимая свои возможности, – существовать не внутри кружка, а в другой логике: «Что-то поняла – хочу поделиться». Причем, что характерно, в таких компаниях не теряли время на обсуждение советской власти.

В этом желании разделить с другими опыт и понимание своих интересов тоже можно было найти зачатки, нуклеус Школы – гражданское просвещение по-советски. Как определяет сама Немировская, «это случайности, которые были использованы».

Оставшись пластичной в личной жизни, стремясь избегать в ней острых углов, Лена перестала быть пластичной в публичной сфере – сформировалась не то чтобы система взглядов, но способ мышления: «В свои 31-32 года я начала что-то соображать про себя, перестала стесняться своей индивидуальности, уже не хотела быть, как все; поняла, что я свободна».

Потом этот способ мышления будет закреплён общением с Мерабом Мамардашвили. Но сначала была Юлия Добровольская.

Люди-ключи: Юлия Добровольская

У Лены появился свой человек-ключ – Юлия Абрамовна Добровольская, которая про себя говорила: «Моя сила была в пассивном сопротивлении: никто никогда не заставил меня “жить по лжи”, думать, писать и переводить не то, что хочу».

Переводить – потому что Добровольская была высшего класса переводчицей с итальянского. Хотя в начале ее биографии был испанский язык, выученный за месяц по разнарядке сверху – для того, чтобы оказаться переводчиком на гражданской войне в Испании, прямо внутри «По ком звонит колокол» Хемингуэя. И затем стать предметом многолетних устойчивых слухов о том, что Добровольская – прототип Марии из этого романа, а в жизни – реальная возлюбленная писателя. «...И он увидел ее золотисто-смуглое лицо, и коричневатые-серые глаза, и улыбающиеся полные губы, и короткие, выгоревшие на солнце волосы, и она чуть откинула голову и с улыбкой посмотрела ему в глаза».

Правда это или нет, но любовные истории поворачивали ход биографии Добровольской, иногда радикальным образом.

Юлия Абрамовна Бриль родилась в Нижнем Новгороде в 1917 году. Училась в Ленинграде на филфаке (в бывшем ЛИФЛИ), ученица Владимира Проппа, автора знаменитой «Морфологии волшебной сказки». В 1937-м наркомат обороны отобрал несколько студентов – за 40 дней они должны были выучить испанский, который тогда на филфаке не преподавали, и отправиться на гражданскую войну в Испанию переводчиками. Хемингуэя в своих мемуарах Юлия Бриль-Добровольская не упоминает, зато в них есть рассказ о том, как один из знаменитых испанских командиров звал ее в 1939 году с собой в Мексику.

В годы Великой Отечественной Юлия работала в ТАСС. Но до этого был долгий путь домой, полный загадок: по устным рассказам знавших ее, она участвовала в итальянском Сопротивлении, была

возлюбленной тамошнего аристократа, потом, обеспокоенная судьбой матери и брата, возвращалась в СССР географически сложным путем. Брата – скрипача, как выяснилось, забрали органы, отправили на фронт, где он в первые дни войны погиб.

Много раз, когда Юлия ходила на работу пешком, за нею увязывалась казенная машина – сюжет, разумеется, крайне настораживающий. Выяснилось, что это генерал Александр Добровольский, который после войны вывозил из Германии в СССР цейссовский завод. Он влюбился в ее походку. И преследовал предмет своей одержимости. Началась любовь, в разгар которой Юлию Бриль забрали на Лубянку, а потом – отбывать наказание в Ховринском лагере-заводе.

Начальник 2-го главного управления (оптики и приборов) наркомата вооружений Александр Евгеньевич Добровольский поехал в лагерь делать Юлии Бриль предложение. И это уже после того, как сам Берия сказал ему: «Найди себе другую невесту».

В 1945-м будущую жену Добровольского выпустили по амнистии: это был чистый Голливуд – у ворот тюрьмы ее встречал влюбленный генерал на черном ЗИСе... В лагере с ней сидела близкая подруга – девушка Нина, обладательница дейнековских пропорций и грации – будущая жена выдающегося астрофизика Виталия Гинзбурга. Время чудовищного унижения человеческого достоинства было отмечено удивительными историями любви, когда люди ради чувства рисковали не только своим положением, но и свободой и жизнью.

В 1946-м Добровольскую позвали преподавать итальянский в Московский пединститут иностранных языков. Между ней и Софьей Герье (1878 года рождения!), дочерью знаменитого Владимира Герье, основателя первых в России Высших женских курсов, произошел следующий разговор:

– Но я же не знаю грамматики! – призналась Добровольская.

– Пустяки! Вот вам грамматика Мильорини. Сегодня выучите – завтра преподадите! – тут же решила проблему Герье.

Потом был вынужденный уход из Иняза, понижение мужа до директора маленького завода, реабилитация. Круг общения – от Ландау со стороны «физиков» до Чухонцева со стороны «лириков».

И тяжелый развод с Добровольским, изводившим жену черной ревностью. Однажды он нашел сбежавшую от его не проходящей депрессии Юлию у друзей. «Обнявшись, плакали. Что я не вернусь, он понял по моей реакции на его предложение:

– Давай сядем в машину и на полной скорости врежемся в стену или в дерево!

– Давай, хоть сейчас, я готова...

Больше я его не видела – до похорон».

Юлия Абрамовна преподавала в МГИМО. Обучила итальянскому многолетнего собкора ТАСС в Риме Алексея Букалова. В 1965 году дала студентам для перевода интервью Анны Ахматовой газете «Унита» после получения ею премии Этна Таормина. «Завкафедрой Г. выразил надежду, что товарищ Добровольская признает свою ошибку и честным трудом ее искупит.

Товарищ Добровольская взвилась:

– Вот что я вам скажу: мы должны в ноги поклониться Анне Андреевне Ахматовой.

Дальше – про “гордость нашей страны”, но главное:

– Уверена, что вы все так думаете, но сказать боитесь. Я вас за это презираю. А с провокатором Г. не желаю иметь дела.

И ушла, хлопнув дверью. На этом моя педагогическая деятельность закончилась».

Потом была переводческая работа – Добровольская хорошо знала всех знаменитых итальянцев от Ренато Гуттузо и Джанни Родари до Федерико Феллини и Умберто Эко. Вышла замуж за латиноамериканца Семена Гонионского. Они жили в том же доме на улице Горького, 8, что и Илья Эренбург, на пятом этаже, окнами на памятник Долгорукому.

Их адрес для многих интеллектуальных компаний стал символом свободного общения. Нормальная советская раздвоенная жизнь, проистекающая из феномена, названного Владимиром Кормером «двойным сознанием интеллигенции»: с одной стороны, Добровольская была переводчицей Минкульта СССР и общества дружбы СССР – Италия, с другой, она и ее дом оставались центром притяжения для людей, старавшихся свободно думать.

Гонионский умер в 1974-м, в 57 лет. От этой смерти Юлия Абрамовна отходила долго – со слуховыми галлюцинациями: все казалось, что ключ поворачивается в двери и любимый муж возвращается домой.

Две линии людей-ключей, которым предстояло стать свидетелями на свадьбе Юры и Лены, сошлись, когда Добровольская впервые увидела Мамардашвили. Она переводила выступления итальянских гостей на конференции в Малом зале Центрального дома литераторов. Это был 1971 год. Делегацию из Италии возглавлял Умберто Эко, речь шла о структурализме, Добровольская едва находила адекватные термины для перевода. И тут ей на помощь пришел незнакомый лысый человек в очках, с лицом крупной лепки. Так произошло знакомство с Мерабом.

Лена Немировская в это время готовилась к защите диссертации. Естественно, нужны были публикации. Одному из ученых начальников она отказала в «женской любезности» – и текст ее статьи был выброшен из сборника, публикация в котором была крайне важна для защиты. Юлия Абрамовна, покровительствовавшая Лене, решила попросить о публикации Мамардашвили – не где-нибудь, а в «Вопросах философии». Пойти в журнал со статьей подруги Добровольская, однако, не могла – муж приревновал ее к Мерабу.

Лена, которая, по характеристике Юрия Петровича, «девушка была ничего», подготовилась к походу на Волхонку, где находилась редакция журнала, основательно. Внутренняя свобода проявлялась в том числе в несоветской манере одеваться, а тут и вовсе надо было показать класс. На ногах – сшитые у подруги на «Мосфильме» высокие сапоги со шнуровкой, пальто покроя «мини-юбка». Такая женщина едва ли могла оставить равнодушным любого покорителя женского пола. И, судя по всему, не оставила. Разговор, впрочем, был сугубо деловой. Заместитель главного редактора «Вопросов философии» сидел в маленьком кабинетике, курил «Житан», сигареты, которые ему присылали из Франции. «Условие публикации, – сказал Мамардашвили, – качество статьи». Сговорились – в силу ряда рабочих обстоятельств – о звонке уже после Нового 1972 года, 11 февраля.

Несмотря на то, что дома, в Ажурном, все расхворались, Лена позвонила Мерабу в назначенное время. Он коротко сказал: «Прочитай. Приезжайте». Пришлось ехать. «Я приглашу редактора, который будет вести эту статью», – сказал Мамардашвили. Рукопись забрал читать Юрий Сенокосов. Лена помнила эту фамилию по пятому тому «Философской энциклопедии», по статье о структурализме.

С того момента началось общение Немировской с Мамардашвили и Сенокосовым. И тайное, точнее, не проговариваемое вслух, их соперничество за внимание Елены Михайловны. Мераб не проводил женщин. В этом смысле у Юрия было преимущество.

Статья вышла по меркам тогдашних издательских циклов быстро, в июльской книжке «Вопросов философии». В престижном журнале, издававшемся академическим (по тем понятиям) тиражом 39 тысяч экземпляров. В юбилейном номере, отмечавшем 25-летие издания. В разделе «Философия за рубежом».

Статья Немировской называлась «Теория презентативного символизма (К критическому анализу семантической концепции искусства С. К. Лангер)». «Реакции человека на окружающее, – писала автор, – опосредованы символической сетью языка, науки, искусства, религии. Символическая деятельность – вот тот “новый ключ” к пониманию человеческой природы... Язык не единственный способ артикуляции мысли, и всякая невыразимая в языке мысль есть чувство. Значит, не всякий тип символизма является лингвистическим... Символ, по мнению Лангер, есть единственное средство, с помощью которого возможна активность человеческого сознания... Лангер... отвергает любое истолкование презентативного символа как эмоционального стимула. Художественное произведение не выражает чувств, оно скорее “экспонирует”, выставляет их».

«Нелингвистический символизм» по отношению к автору статьи стал проявлять редактор. 2 мая Юра и Лена ездили за город. Купили килограмм яблок, поехали почему-то с Казанского вокзала до станции Панки. Сидели на пригорке и грызли яблоки в ожидании жаркого московского лета 1972-го...

В этом году Ю. П. вызывали в органы, готовилась посадка одного из участников издания «Хроники текущих событий» Гарика Супер-

фина, с которым он был знаком. А в конце года завертелась еще одна история – возможность работы в международном журнале коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма» в Праге, проверки, разговоры – это отдельный сюжет, к которому мы еще вернемся. На этом фоне разворачивался роман Лены и Юры, а чтобы уехать работать в Прагу, надо было жениться. Да и вообще эта связь, почти тайная, должна была подойти к своему логическому завершению.

В августе 1973 года по приглашению казахских коллег несколько сотрудников и авторов журнала «Вопросы философии» прилетели на встречу с читателями в Алма-Ату, а затем на автобусе поехали на озеро Иссык-Куль в академический дом отдыха. Впечатление от поездки, по словам Ю. П., осталось незабываемое. Огромное озеро, которое окружали высокие горы, покрытые снегом, напоминало цирковую арену, и на этой арене ближе к вечеру в лучах заходящего солнца начиналась захватывающая игра красок. А по ночам, когда все засыпало, вдруг раздавался богатырский храп классика советской социологии Бориса Андреевича Грушина, которого приходилось забрасывать подушками. Днем же Мераб и Юра брали лодку и, отплывая подальше от берега, молча наслаждались горной тишиной. Просто сопresentствовали. Во время поездки Ю. П. так и не решился сообщить другу, что собирается жениться на Лене. Приглашение на бракосочетание Мамардашвили получил 28 августа и был свидетелем на свадьбе. Как и Юлия Добровольская.

Свадьбу сыграли 8 сентября. По полу квартиры в Ажурном доме вечером этого дня ползали живые раки, принесенные журналистом Юрием Зерчаниновым.

Потом и Добровольская с Мамардашвили стали друзьями. Апокрифической стала фраза, обращенная Мерабом к Юлии: «В Испании ты сражалась за правое дело, которое, к счастью, было проиграно».

Однажды поехали все вместе на Черное море в поселок Лидзава, который находится недалеко от Пицунды, где Сенокосовы отдыхали каждый год. Поселившись в доме, Юлия Абрамовна немедленно сняла висевший там почему-то портрет Сталина и отправила его под кровать. И заболела. Мераб, оценив обстановку, предложил вос-

становить статус-кво – повесить Сталина туда, где тот висел. Добровольская категорически отказалась. И продолжала болеть. Как только Мамардашвили водрузил генералиссимуса на место, Юлия Абрамовна пошла на поправку.

Однако тень режима преследовала ее всю жизнь. Будучи переводчицей итальянской литературы и синхронисткой едва ли не всех знаменитых итальянцев, приезжавших в СССР, выехать в Италию Добровольская не могла. Юрий Любимов, на спектакли которого Юлия Абрамовна водила итальянцев, устроил ей аудиенцию в КГБ у могущественного надзирателя за интеллигенцией Филиппа Бобкова, начальника 5-го управления (по «защите конституционного строя»). Спустя месяц после встречи Добровольскую выпустили в Италию.

С Италией связана и другая история частной жизни – эвакуация на лечение дочери Лены Немировской Тани. Вот как об этом пишет в своих воспоминаниях Юлия Добровольская: «Лет с шестнадцати Таня медленно, а потом все стремительнее угасала... Врачи поставили диагноз: болезнь Кушинга, безнадежное мозговое заболевание, и лечили ее, видимо, противопоказанными ей лекарствами.

В это время в Москве совершенствовала свой русский язык студентка генуэзского университета Мади Гандольфо. Услышав о приговоре Тани, она кинулась звонить домой, в Дженову Куинту, брату:

– Джанпьеро, обзвони всех друзей! Надо, чтобы кто-то срочно приехал в Москву и женился на Тани, ее необходимо срочно увезти в Геную и положить в больницу...

В Генуе Таню положили на обследование в одну из лучших итальянских больниц Сан Мартино. Через месяц выписали...

Нас принял заведующим больницы:

– ...непонятно, как московские врачи могли допустить такую ошибку в диагнозе! У Тани типичное психосоматическое расстройство».

Потом и самой Добровольской понадобится фиктивный муж, чтобы навсегда уехать из Советского Союза и обосноваться в Италии.

Юлия Абрамовна Добровольская скончалась в июле 2016 года в Тоннеца-дель-Чимоне на 99-м году жизни.

УНИВЕРСИТЕТЫ ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ

Начиная с 1958 года во время студенческих летних и зимних каникул, сдав в ломбард на улице Петровка часы и пальто, Юрий отправлялся с концертной бригадой по стране. Это был не просто способ существования, который, в общем, нравился, но и метод зарабатывания денег: на втором курсе Юру лишили стипендии и чуть не исключили из университета за неудовлетворительное отношение к военному делу. После окончания университета он получил звание «рядовой-обученный».

На том же втором курсе студент истфака впервые в жизни открыл журнал «Вопросы философии» – и его поразил язык издания, он был другой, несмотря на свою все ту же, что и везде, официальную марксистско-ленинскую подоснову. Тогда Сенокосов заинтересовался философией истории. Диплом Юрий писал по Уложенной комиссии Екатерины II, и с этого времени можно отсчитывать начало его интереса к проблемам свободы и гражданского общества. В шестой статье Наказа, с которым Екатерина обратилась к Уложенной комиссии в 1767 году, сказано: «Россия есть европейская держава». В принципе, это можно было бы считать слоганом Школы, основанной Сенокосовым и Немировской. Потом Юрий Петрович издаст русский перевод работы Ричарда Пайпса «Истоки гражданских прав в России – год 1785» – о Жалованных грамотах дворянству и городам, документах, которые впервые в русской истории кого-то наделяли правами.

В Московском университете после XX съезда КПСС значение имели не столько преподаватели, сколько круг общения и среда. На журфаке училась Юлия Хрущева, внучка Никиты Сергеевича, на истфаке – скромная Майя Сулова, дочь могущественного номенклатурщика. Театр-студия МГУ «Наш дом» – это Марк Розовский, Алик Аксельрод и Илья Рутберг, его основатели. Главным режиссером Студенческого театра был Сергей Юткевич, а потом Марк Захаров. Приезжал из Одессы молодой Михаил Жванецкий с друзьями.

Однажды в клубе МГУ на улице Герцена выступал Марк Бернес и «провалился». Его освистали – тональность и содержание песен явно не соответствовали настроениям университетской молодежи рубежа 1960-х. «С чего начинается Родина?» – пел Бернес. Начинаясь она, во всяком случае, для таких же молодых людей, как Юрий Сенокосов, в том числе и с террора.

Люди студенческого и аспирантского возраста пытались понять свое время. И историю своей страны. Для 1960-х характерна была романтизация 1920-х – так можно было оправдать революционный пафос, приспособить его к желанию перемен, «приписать» революции нравственность.

Историю и себя пытались понять через литературу, кино и даже в большей степени через поэзию. Ю. П. называет причину: «Это происходило потому, что не было языка для понимания действительности». А языком газеты «Правда» описать ее было невозможно. Отсюда – популярность поэзии, полукрамольных мемуаров, например, Ильи Эренбурга. Юрий Петрович вспоминал, как в клуб МГУ приехал Андрей Тарковский со своим «Андреем Рублевым». После просмотра фильм начали критиковать профессиональные историки за отсутствие в ряде сцен исторической объективности, достоверности. Но причем здесь объективность, спрашивал себя Ю. П.? В чем и как она должна выражаться?

Еще до поступления в университет, стараясь «дойти до самой сути», Сенокосов начал ходить в Центральный архив литературы и искусства, переписывал от руки стихи Осипа Мандельштама, увлекся поэзией военного поколения, в частности, Павлом Шубиным, автором знаменитой в войну «Волховской застольной», которую пели на мотив еще более знаменитой песни «Наш тост», но – без упоминания Сталина. Пытаясь что-то узнать о поэте, умершем в 1950-м, «записался на прием» к Александру Чаковскому, писавшему о нем и служившему во фронтовой газете на том же Волховском фронте. Был принят этим знаменитым литературным сановником, но не узнал ничего нового.

Сенокосов был не единственным, кто искал себя словно бы заново. Целое поколение пыталось найти свое место в жизни, обре-

сти способы осмысления действительности и самоопределения. В основном – отталкиваясь и дистанцируясь от поколения отцов, хотя «шестидесятники», как справедливо заметил один из ярких представителей этой генерации социолог Борис Фирсов, были людьми разных возрастов. Это социально-политическое, а не возрастное поколение. Хотя и возраст имел значение. Как в стихотворении Владимира Корнилова «Отцы и дети», посвященном Станиславу Рассадину и написанном в конце 1960 года.

Говорят отцы: – Что делать, дети,
Нас нелепо развела судьба:
Мы стояли насмерть за идеи,
Вы стоите – за самих себя.

Мы как сталь, а вы как будто окись.
Будто вышли из другой руды.
Мы росли и верили: жестокость –
Это проявление доброты.

Настоящий бунт, если угодно – поколенческий, состоялся уже после окончания института, когда в 1962 году Сенокосова распределили учителем истории в деревенскую школу на Алтае, более чем за 100 километров от Барнаула. Пробыл он там недолго: фактически бежал в Москву – во второй раз, полагая, что не для того он покинул Чеченгородок, чтобы вернуться снова в глухую советскую провинцию.

В Москве оказался без паспорта, который оставил директору школы – столь стремительно происходило бегство. Деваться было некуда, пришлось возвращаться на стройку. Через полгода директор школы, поняв, что «предателя»-историка точно не вернуть, с проклятиями отправил ему паспорт на Главпочтамт, до востребования.

Юрий Сенокосов начал работать во ФБОНе, Фундаментальной библиотеке общественных наук, располагавшейся на Знаменке, в то время улице Фрунзе, примыкавшей прямо к Ленинской библиотеке...

Вот как Ю. П. рассказывал об этом периоде своей биографии: «Я пробыл в этой библиотеке около трех лет. Это было удивитель-

ное место и удивительное время. Да, после “ухода” Хрущева на пенсию оттепель кончилась. Но я вспомнил сейчас строчки своего стихотворения, написанного 12 апреля 1961 года: “Горело Солнце в бездне синей. Ручьи звенели как трамваи. И небо стаи голубиные ковром весенним расшивали. Дышалось жадно и легко...”. Именно тогда, в те годы, общаясь с сотрудниками и читателями библиотеки и читая в “спецхране” запрещенные книги, я понял, почему хочу быть свободным...».

Потом, в самом конце 1960-х на базе ФБОН появится ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам), а в начале того же десятилетия обсуждалась возможность строительства того самого здания, которое было в постсоветское время страшно запущено из-за недофинансирования и сгорело. И тогда же было принято решение о реферировании и издании в виде тематических сборников содержания поступавших в страну зарубежных журналов и научной литературы. А кроме того, по распоряжению секретаря Центрального комитета Ильичева и во исполнение постановления ЦК в академических институтах начали проводить методологические семинары. Правда, через несколько лет их запретили. И вот почему.

Сенокосов работал в библиотеке с Виталием Рубиным и Григорием Померанцем, и на одном из таких семинаров в Институте философии 3 декабря 1965 года по его просьбе Григорий Соломонович выступил с докладом о культуре личности. На следующий день об этом выступлении говорило зарубежное радио. Семинары закрыли.

Конечно, с точки зрения саморазвития ФБОН была шикарным местом, настоящим университетом – работа позволяла читать недоступные тексты авторов русской эмиграции. Так, например, Юрий открыл для себя в это время Георгия Федотова и увлекся им.

Одновременно по приглашению своего университетского друга Бориса Орешина Ю. П. начал преподавать историю в знаменитой 2-й физмат спецшколе, находившейся за магазином «Москва». Школа была по-своему удивительной – с очень нестандартными преподавателями, как, например, литератор и правозащитник Анатолий Якобсон. И не менее яркими учениками, как Вадим Делоне – через

пять лет он вместе с другими смельчаками выйдет на площадь протестовать против вторжения СССР в Чехословакию. В здании второй спецшколы в то время проходили занятия ВМШ – вечерней математической школы при МГУ. В 1972 году школу фактически разгромили, уволив директора и ряд преподавателей. Но даже в столь необычном месте Сенокосов задержался недолго.

Весной 1964-го он нашел свой собственный круг единомышленников – познакомился с Михаилом Меерсоном-Аксеновым, ныне священником, живущим в США, Евгением Барабановым, философом религии, впоследствии участником солженицынского альманаха «Из-под глыб», Владимиром Кормером и отцом Александром Менем. Все они как раз в той или иной степени были близки к отцу Александру, хотя и не всех можно было назвать его прихожанами в строгом смысле слова. Был образован своего рода кружок по изучению отечественной философии и науки, в рамках которого первое сообщение о «скорбной летописи» убитых, расстрелянных и умерших от голода русских ученых во время Гражданской войны делал Юрий Сенокосов. Эта «летопись» публиковалась в «Известиях Российской академии наук» в 1920-е годы. Он просмотрел также все номера журнала «Большевик» за 1930-е – там печатались списки приговоренных к расстрелу. Чтобы изжить насилие, нужно было его описать и осмыслить.

Вместе с Барабановым Сенокосов ходил в Ленинскую библиотеку, где они просматривали подшивки газет, издававшихся в Санкт-Петербурге в начале XX века, в поисках статей Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Семена Франка и других русских философов. Тогда же друзья по кружку решили перепечатывать их книги, изданные в эмиграции. Это был первый для Сенокосова опыт организационно-издательской работы, а точнее, религиозного самиздата, которым активно занимался в те годы Михаил Меерсон. Ю. П. несколько раз посещал у метро «Сокол» надежную машинистку, которая перепечатывала передаваемые ей книги в пяти-шести экземплярах. Почти в то же самое время Александр Галич напишет: «”Эрика” берет четыре копии...».

Люди-ключи: Александр Мень

Ранним утром 9 сентября 1990 года варварски, ударом топора, был убит о. Александр Мень, символ отечественного христианства, православия не с официозным или националистическим, а человеческим лицом.

Истекая кровью, о. Александр искал в траве свой портфель, и на вопрос прохожего, кто его так покалечил, ответил: «Никто, я сам».

В этом ответе была заключена правда. Александр Мень привлекал к себе чрезмерное внимание – в одинаковой мере и любовь, и ненависть. И градус этой ненависти был таков, что православный священнослужитель-экуменист действительно мог сказать, что это он сам навел на себя топор фанатиков-фундаменталистов.

Следователи безуспешно искали убийц. В сущности, у них и не было шансов обнаружить исполнителей преступления. Потому что по старой советской привычке они днем и ночью находились в поиске бытового мотива. Сторонним же наблюдателям за следствием и судом потом решительно невозможно было разобраться в том, почему кто-то из подозреваемых или обвиняемых оговаривал сам себя.

Ничего не напоминает? Убийство Бориса Немцова. Поиск бытового мотива. Стремительно найденные стрелочники. Невероятно затянувшееся следствие, выдающее либо профессиональную импотентность, либо непреодолимую политическую ангажированность.

А еще убийство Меня напоминает преступление против Галины Старовойтовой. Убийца, правда, в этом случае был найден. Однако мотив не до конца понятен. Месть за что-то абстрактное? Обида на высказывания, зависть?..

Месть и обида – ключевые слова, к которым мы еще вернемся.

Отца Александра Меня, скорее всего, убила обида «оскорбленных» фундаменталистов. «Оскорбленных» его экуменизмом, его фантастической просветительской эффективностью. Они хотели уничтожить источник экуменистической заразы и просветитель-



Юрий долго не решался сказать Мерабу Мамардашвили о том, что он женится на Лене. 1970-е годы



Полина Абрамовна
и Михаил Петрович
Немировские



Девочка из Ажурного дома.
10 класс, 1957 год



Десятиклассник
Юра Сенокосов, 1955 год.
Уже тогда – в белых брюках



Мальчик из Чеченгородка.
Москва, 1955 год



Юрий Сенокосов – обладатель
артистической натуры.
Станция Удельная,
осень 1960 года



Студенческие годы Юра
провел в концертных
бригадах

Прага давала
чувство свободы,
1974 год



Скромный редактор журнала
«Проблемы мира и социализма»
в Дрездене, 1976 год





К Лене в Прагу приезжала дочь Таня, 1970-е годы



Мераб Мамардашвили, главный человек в жизни Лены и Юры



Неразлучные: Юрий, Лена, Мераб



Иза Мамардашвили и Лена, 1993 год



Писатель Владимир Кормер



Владимир Кормер с женой Еленой Мунц и дочкой Таней. Конец 1960-х



В гостях у отца Александра.
В верхнем ряду Юрий Сенокосов и Александр Мень, 1970-е годы



Лена и Юрий Петрович дружили с Ольгой Ивинской



Юлия Добровольская – уже в эмиграции в Италии, 1985 год



Кембридж, 1990-е годы. Слева – Эрнест Геллнер,
в центре – Юлия Добровольская, справа – Татьяна Конрад, дочь Лены



Внучка Катя, здесь еще маленькая.
Сейчас она студентка монреальского МакГилла



С Маргарет Тэтчер, 2002 год

ства, если угодно, миссионерства, которое не было сильной стороной официального православия.

Не зря в сводках КГБ Александр Мень проходил под кодовым именем «Миссионер». К слову, священник, несмотря на слежку, прослушку, преследования, обыски, не гнушался спокойными разговорами и с этой категорией граждан, полагая, что, вообще говоря, они тоже люди и их надо просвещать. То есть относился к своим гонителям по-христиански.

Честно о том, что Меня убили агрессивность, нетерпимость, оскорбленность фундаменталистов, которых и христианами-то назвать нельзя, сказал один из друзей о. Александра – знаменитый искусствовед Игорь Голомшток, человек не религиозный, но подпавший под просветительское обаяние Меня. В своих мемуарах он написал: «Экуменизм Меня был для православной церкви ересью, а еретики не только в религии, но и в идеологии, и в политике представляются ортодоксам страшнее прямых противников. Недавно я прочитал в газете, что во дворе какого-то московского монастыря жгли книги о. Александра. И у меня нет сомнений в том, кто был инициатором событий 9 сентября 1990 года».

В мемуарах Игоря Голомштока есть важная фраза: «Ни в какую веру обращать меня Мень не собирался». Не собирался, потому что был просветителем. Любую веру нельзя насаждать, «как картошку при Екатерине». И книги о. Александра интересны и захватывающи, как для детей Майн Рид или Жюль Верн, потому что он превращал христианство в увлекательное историческое и географическое путешествие, не отвращая от веры, а привлекая к ней.

Между наукой и религией в творчестве о. Александра не было противоречий. Владимир Кормер, судя по всему, с почти документальной точностью изобразил о. Александра в романе «Наследство». Персонаж этой великолепной книги – отец Владимир, в котором легко узнается Мень, говорит пришедшему к нему с вопросом человеку, каких были тысячи: «Только наука... может... спасти». А пожелавшим прикоснуться к христианской истине и «что-нибудь почитать» дает из своей библиотеки не церковную литературу, а «Философию свободного духа» Николая Бердяева (Мень действительно

но был поклонником Бердяева, как и Владимира Соловьева) и книгу Джона Фрезера «Золотая ветвь».

Несколькими точными мазками Кормер описывает отца Владимира так, что мы видим перед собой отца Александра: «...большоголовый дородный мужчина лет сорока или даже моложе (в те годы Меню было за тридцать, но он выглядел старше. – А. К.), похожий на ассирийского царя Ашшурбанипала».

Юрий Сенокосов рассказывал, что в кабинете Меня книги располагались по определенной логике – символическим образом религиозная литература оказывалась выше светской. Это было подмечено и Владимиром Кормером: «Уставленные ровно, корешок к корешку, книги выдавали библиофильские наклонности хозяина. Сразу же бросались в глаза толстые многотомные немецкие и английские церковные словари и энциклопедии, но вообще книги размещены были по чину. Внизу стоял “Брокгауз”, рядом с ним “Еврейская энциклопедия”, на полке повыше шли книги по естествознанию и географии, еще выше помещались этнография и антропология, после начиналась история, за нею философия, а на самом верху религиоведение и святоотеческая литература».

Кормер показывает, как о. Александр разрешал извечную интеллигентскую дилемму – служить ли в условиях советской власти или уходить «за черту нормальной жизни»: «Надо работать, делать хорошо свое дело, – сказал он внезапно даже с некоторым раздражением, – и стараться быть порядочными людьми... А этот антикультурный нигилизм, он чрезвычайно вреден». Во многом эта позиция совпадала с представлениями Мераба Мамардашвили.

Однажды, вспоминает Юрий Сенокосов, он попросил Меня об исповеди: «Он меня не принял. Я обиделся». А потом выяснилось, что священнику пришлось бы писать об этом в компетентные органы, о факте обращения к о. Александру стало бы известно в Институте философии и «Вопросах философии».

Будучи посредником между небесным и земным, Мень был слишком близок обычным людям. Между божественным и человеческим границы почти не существовало. Или божественное и человеческое становилось одним и тем же.

Показательна история с Екатериной Гениевой, прихожанкой Меня, выдающимся директором Всероссийской библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ). В 1989 году, после долгой борьбы с государством, директором библиотеки был избран (именно избран, по правилам перестроечного времени) выдающийся лингвист Вячеслав Всеволодович Иванов. Он тяготился гигантским объемом административно-организационной работы, и потому было принято решение передать управление библиотекой Гениевой. И вот тогда состоялся разговор Екатерины Юрьевны с о. Александром Менем. Так уж получилось, что он был тем человеком, чье мнение могло стать решающим – становиться ей директором ВГБИЛ или нет. «У меня нет времени на административную работу», – быстро, как из пулемета, говорила Екатерина Гениева. «Почему?» – спросил о. Александр. «Я филолог, я пишу». – «Вы что, Лев Толстой?». И произнес пророческую, в сущности, фразу: «Время вам пошлетя». Да, и в самом деле – послалось: четверть века! До самой кончины Екатерины Юрьевны – на работе.

...Юрий Сенокосов не был прихожанином Меня в строгом смысле слова, он всего лишь с ним дружил, считал своим, как сказали бы сейчас, гуру, помогал ему, посылая необходимую для работы библиографию. Но в экуменистическом, общечеловеческом – все-таки был, хотя и звал его как друга Аликом, а не отцом Александром: знакомство произошло давным-давно, во время празднования Нового, 1964 года. И первым вопросом, который возник у Юрия Петровича 9 сентября 1990 года, в день убийства, было эмоциональное вопрошание: «За что?». А ответ был известен: вот за это. За просвещение. За легкость. За доброту. За открытость. За популярность. За скромность – в то утро, когда было совершено преступление, о. Александр спешил на электричку, уходившую в 6:30, на работу, в храм.

Конечно, он был не первым священником-просветителем и миссионером. Сам Мень вспоминал послевоенное время, когда воскресными вечерами отец Андрей Расторгуев толковал Евангелие, а отец Александр Смирнов «получил, благодаря своим связям с органами, разрешение поставить в Николо-Кузнецком храме экран, словно

в кинотеатре, и каждое воскресенье вечером показывал цветные диапозитивы и рассказывал Священную историю, толковал таинства; народу набивалось столько, что люди падали в обморок». Где-то после 1950 года эта вольница кончилась.

В Александре Мене, как говорил Юрий Сенокосов, видели «отступника-экумениста»: «Его обвиняли в том, что он встречался с баптистами и молился с ними, симпатизировал католикам, а после того, как некоторые члены его паствы, разочаровавшись в православии, стали баптистами, упрекали, как он мог это допустить».

На задаваемый часто вопрос, как он относится к католицизму, о. Александр отвечал обычно: «Нормально. Наши перегородки до Бога не доходят». Ему не могли простить того, что он был евреем. Исследователь русского национализма и политического православия Николай Митрохин писал, что в лице о. Александра православный официоз боялся «обновленчества» и «католицизма», «хотя сам священник происходил из “воцерковленной” семьи, связанной с “катакомбниками” (т.е. православными, не признающими советской власти)». Юрий Сенокосов: «Ему постоянно напоминали о себе, поскольку он был еврей, “русские патриоты”, от которых он получал угрожающие письма».

В известном смысле о. Александр был обречен. Он стал центром притяжения для слишком разных людей, которых привечал одинаково приветливо. От Александра Солженицына, в суждениях которого Меня по-доброму находил «очаровательную примитивность», до Александра Галича. Меню было всего-то лет 30, когда в его приходе, как он сам говорил, начался «демографический взрыв» – шли православные неофиты, искавшие себя в христианстве, и просто «кто попало». Будущий отчаянный противник Меня, националистический публицист Геннадий Шиманов, как вспоминал о. Александр, «пришел в сопровождении семи девиц и спрашивал, не католик ли я». И в то же время вокруг Меня были едва ли не лучшие люди страны. Он хоронил и отпевал Надежду Мандельштам и Варлама Шаламова, венчал Солженицына, почти каждый день ездил в Москву, совершал обряды, просвещал, рассказывал о жизни Христа...

Потом националисты и фундаменталисты определились со своим персональным «отцом» – Дмитрием Дудко, ставшим впоследствии, по свидетельству Николая Митрохина, духовником газеты «День», она же «Завтра».

Именно здесь проходил раскол церкви, не признаваемый православием – между националистической, нетерпимой, агрессивной ветвью и либеральным, доброжелательным, как сам о. Александр, просветительско-экуменистическим лагерем. С одного и того же Ярославского вокзала отправлялись к своим духовным отцам две «партии» – одна к Дудко, другая – к Меню.

Этот раскол проходил не только по линии условных «националистов» и «экуменистов». Евгений Барабанов в статье, написанной для сборника «Из-под глыб», говорил о расколе церкви и мира: «Собственная религиозность стала главной заботой христианина. И в этой перспективе понятие о христианской ответственности за судьбы мира неудержимо теряет всякий смысл». Получается религиозность ради религиозности. В результате «особенно популярными оказались идеи послушания и смиренной покорности внешним авторитетам. Они открыли дверь консервативному конформизму не только в индивидуальной этике, но и в самой церковной жизни».

Нетрудно догадаться, какую сторону в этом расколе занимал о. Александр Мень.

И еще о нескольких принципиальных моментах, которые продолжают оставаться актуальными, писал в той статье Евгений Барабанов: «Сегодня особенно важно преодолеть нашу плененность псевдоцерковностью. Оттого, что мы регулярно посещаем храм или знаем порядок богослужения, вовсе не следует, что только мы творим безусловное добро. Само по себе наше бытие в Церкви не прерогатива и не патент на спасение. Тайна личного спасения известна одному Богу». И еще об одной метаморфозе: «...слишком часто обращение в христианство, в православие на самом деле означает смену идеологий. Но идеология, сколько бы ни казалась она безусловно верной, не способна освободить человека».

Если в 1960-е и 1970-е годы о. Александр ограничивался хотя и большой, но сравнительно локальной аудиторией – прихожана-

ми, неофитами, московской интеллигенцией, то в годы перестройки он вышел на несравнимо большую аудиторию – всю страну. Бесчисленные книги начали выходить не в там- и самиздате, а официально, большими позднесоветскими тиражами. Выступления на самых разных площадках, от Домов культуры до стадиона в Лужниках, собирали гигантское число людей. Разумеется, конкуренцию такого рода фундаменталисты терпеть не собирались.

Икона и топор, как известно из одноименной книги директора Библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона, висели в русских избах. Топор, разумеется, в мирных целях. Но иногда именно икона становилась топором, орудием нетерпимости, которое использовалось для преследования мыслящих по-другому.

Как догматический официозный марксизм карал тюрьмой настоящих марксистов-диссидентов, так и церковный официоз не признавал тех, кто смотрел шире, чем того требовала обрядовая сторона веры.

Прежде чем расправиться с жертвой, надо было увидеть в ней предателя, оскорбляющего «святое». В этом – истоки и смысл убийств просветителей и политиков.

Как говорил Юрий Сенокосов: «Механизм оправдания предельно прост. Нужно, прежде чем убить человека, перестать считать его человеком и назвать, например, предателем. Или врагом народа. Или жидо-масоном. В этом и состоит, на мой взгляд, проявление языческого начала в нашей культуре... Люди продолжают верить в “очищающий” ритуальный смысл наказания... Это языческое убийство, совершенное теми, кто продолжает думать, что такого рода вещи могут действительно повлиять на какой-то выход из того кризиса, в котором мы находимся». Сказано четверть века назад в интервью Андрею Фадину для журнала «Век XX и мир»...

УНИВЕРСИТЕТЫ ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Фактическая смена профессии подтолкнула Сенокосова к поступлению в аспирантуру Института философии АН СССР. В 1965 году экзамен по историческому материализму у него принимали Александр Зиновьев, Юрий Левада и доктор юридических наук Борис Маньковский. И Маньковским был задан вопрос, поставивший в тупик даже самих экзаменаторов: «А тюрьмы и лагеря – это базис или надстройка?».

Экзаменуемый задумался. Зиновьев принялся шутить. А вопрос, между прочим, остался...

В Институте Ю. П. писал диссертацию по философии истории. Научный руководитель Сенокосова, автор популярных биографий Гегеля и Канта в серии «ЖЗЛ» Арсений Гулыга сделал его секретарем того самого методологического семинара, на котором выступал Григорий Померанц. Его активными участниками были Юрий Левада, Борис Грушин, Арон Гуревич, специально приезжавший из Калинина. По материалам семинара был издан сборник. Все это было первоклассной философской, издательской и организационной школой.

Между тем, у друзей Сенокосова по «кружку» были контакты и с диссидентской средой, в частности, с Петром Якиром, Виктором Красиным и с заграницей – с митрополитом Сурожским Антонием, Никитой Струве. Несмотря на то, что вокруг творились серьезные дела, например, процесс Синявского и Даниэля, как признает сам Ю. П., «понимание того, что надо сдерживать себя, в 1960-е у меня отсутствовало».

Характерно, что, как и потом, в перестройку, постижение немарксистского типа мышления шло в России через изучение религиозной философии. Отчасти – через неомарксистские западные «девиации» вечно живого учения и через критику «буржуазных» философских течений.

Свойство времени – граница между философским официозом и философской фрондой была не просто подвижной. Казалось, лучшие философы и гуманитарии, жившие в СССР или работавшие в Праге в «Проблемах мира и социализма», пересекали ее туда-сюда по несколько раз на дню. Да, граница и грань допустимого были известны, но появились и навыки относительно безболезненного пересечения этой границы. Если, конечно, тот или иной нарушитель вдруг не срывался – эмоционально или интеллектуально. Путь от «идеологического работника», нередко члена партии, к изгоя и даже изгнаннику в этой среде иногда оказывался прямым.

В этом контексте интересно, что Ю. П. успел вступить в партию: Гулыга и Левада настаивали, справедливо утверждая, что это необходимо для успешной защиты диссертации. Они же дали рекомендации. В разгар «Пражской весны», за несколько месяцев до заморозков, Сенокосов подал заявление в Краснопресненский райком партии с несколько загадочной формулировкой: «Прошу принять меня в члены КПСС, т.к. хочу быть строителем нового общества». Вообще говоря, слова были искренними. «Но что я имел в виду?» – задается вопросом Юрий Петрович с высоты сегодняшнего дня и смеется...

В 1968-м Сенокосов познакомил Владимира Кормера с Юрием Левадой. И автор романа «Наследство» стал работать в только что образованном (а затем разгромленном) «левадовском» Институте конкретных социальных исследований, гнезде академической фронды. А в конце 1969 года привел Кормера в «Вопросы философии» – искали человека в отдел зарубежной философии. Сам же Сенокосов начал там трудиться в 1968-м – после пятиминутного разговора с Мамардашвили, состоявшегося по рекомендации известного философа Вадима Межуева.

Обо всех этих кругах очень хорошо сказала Елена Немировская: в них был скептицизм ума, но не было цинизма. Хотя иногда критический склад умов и суждений можно было принять и за цинизм, это было не так. Поколению было тяжело преодолевать сталинизм и одновременно пытаться понять, ради чего затеваются попытки построить нечто новое – в литературе, живописи, искусстве, философии. «Я жила во всякие времена, – говорит Лена, – но без цинизма.

Его не было ни в человеческих отношениях, ни в общественной жизни. Цинизм – это состояние души. Можно позволить себе скептицизм ума, но не цинизм души».

Работа в «Вопросах философии», и особенно во времена редакторства Ивана Фролова, вполне партийного человека, но с заслуженной репутацией либерала и настоящего специалиста в области философии естественных наук, была не просто почетна, но и интересна. Перед Сенокосовым поставили задачу расширить круг авторов за счет реальных экспертов в разных отраслях знания. Это была и впрямь замечательная, хотя и не слишком легко достижимая цель. Точнее, в условиях идеологического зажима фактически не реализуемая.

В 1969 году Сенокосов сделал и опубликовал в журнале интервью с членкором АН Дмитрием Лихачевым о «душе культуры», что было воспринято другими изданиями как сигнал к тому, что Дмитрия Сергеевича можно публиковать. В 1970-м Лихачев станет академиком. Были встречи и с другими значимыми фигурами, которые оказались непубликабельными – Михаилом Бахтиным, сыном Флоренского Кириллом, Вячеславом Ивановым. Ничего не вышло даже из интервью с официальным философом Федором Константиновым. О масштабах творческого горения Сенокосова говорит тот факт, что он замахнулся в те годы на контакты с Мартином Хайдеггером и Клодом Леви-Строссом...

Не обходилось и без конфузов, иногда обидных и тяжелых. Юрий Петрович пришел в арбатскую квартиру Алексея Лосева и попросил что-нибудь дать в журнал. Алексей Федорович, как в восточной сказке, раскрыл сундук с рукописями, показал старое, 1920-х годов, издание «Философии имени». Полуопальный классик дал статью для «Вопросов философии». И... она была зарублена на редколлегии. Объяснить Лосеву, что не в силах скромного сотрудника повлиять на принятое решение, оказалось невозможным. Ю. П. был вынужден выслушать в свой адрес крайне неприятные слова и, разумеется, сильно переживал.

Нелепая ситуация сложилась с академиком Николаем Семеновым, лауреатом Нобелевской премии по химии, на которого

«вышли» через его сына Юрия, философа и друга Фролова. Поводом для посещения квартиры на Фрунзенской набережной было обсуждение темы статьи для журнала. При первом разговоре присутствовала молодая секретарша. Беседа не задалась, Семенов только что пережил инфаркт и недавно выписался из больницы. Во второе посещение он был один. Заговорили о возможном тексте. Академику было интересно порассуждать в статье о том, как растопленные льды Арктики могли бы повлиять на уровень воды океана, что в свою очередь могло оказать положительное воздействие на сельское хозяйство. Ю. П. начал сомневаться, спорить и задавать уточняющие вопросы. Семенов стал заметно злиться, был уже поздний вечер, а потом указал сотруднику журнала на дверь. «А мне на следующий день докладывать о выполнении задания в редакции! – вспоминает Юрий Петрович. – Мераб, помню, посмеялся, а Фролов напрягся».

А вот к академику Петру Капице за статьей ходили уже втроем – лично Фролов, Мамардашвили и Сенокосов. Ю. П. запомнились неравнодушное отношение Капицы к публично занятой гражданской позиции Андрея Сахарова и его рассказ о том, как американцы решали в самом начале 1960-х годов проблему отставания в космических исследованиях. Обратились к нобелевским лауреатам, физикам и математикам, чтобы они записали лекции, доступные для школьников. И запустили серию этих уроков по телевидению, тем самым популяризовав науку и подняв привлекательность профессий.

На фоне всех этих событий развивалась личная драма Юрия Сенокосова. Будучи человеком, уважающим чужой выбор, он не смог препятствовать эмиграции своей первой жены, которая увезла с собой сына Олега...

Люди-ключи: Владимир Кормер

В 1968 году после вторжения в Чехословакию в неформальном кружке, состоявшем из Евгения Барабанова, Михаила Меерсона, Юрия Сенокосова, Владимира Кормера и о. Александра Меня, созрела идея подготовки серии статей в связи с 60-летием сборника «Вехи». Из этой идеи выросла рефлексия Кормера по поводу слоя советского образованного класса – он написал о нем статью.

Три псевдонимированных текста членов этого кружка, включая статью Кормера «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» (под псевдонимом О. Алтаев), были опубликованы в № 97 «Вестника РСХД» за 1970 год, издававшемся в Париже раз в три месяца под редакцией Никиты Струве. Они были собраны под единой «шапкой» – «Metanoia» («Перемена ума») и переданы на Запад Евгением Барабановым, фактическим соредктором «Вестника».

Помимо всего прочего это был антинационалистический манифест. Например, в статье В. Горского (под псевдонимом скрывался как раз искусствовед Евгений Барабанов, третьим автором под псевдонимом М. Челнов выступил Михаил Меерсон) «Русский мессианизм и новое национальное сознание» говорилось: «Преодоление национал-мессианистского соблазна – первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия». Спустя почти полвека очевидно, что эксплуатация этого соблазна нынешней властью позволяет главному идеологу российского изоляционизма собирать более 80 процентов активной или просто конформистской поддержки.

Разумеется, тезисы «Метанойи» были резко оспорены националистами. Первым откликнулся публицист Геннадий Шиманов, полагавший, что чуть ли не все три текста написаны Александром Мением, хотя отец Александр узнал о появлении этих статей лишь постфактум. Досталось авторам и от Александра Солженицына, посвятившего полемике с «Метанойей» часть статьи 1973 года «Раскаяние

и самоограничение как категории национальной жизни», вошедшей в сборник 1974 года «Из-под глыб». В нем же опубликован текст «Раскол Церкви и мира» одного из авторов «Метанойи» Евгения Барабанова, причем без псевдонима – узнав о том, что этот участник сборника и скрывался под фамилией Горский, Солженицын фактически прекратил с ним отношения.

В «Образованщине» (из того же сборника) Солженицын полемизировал с автором, скрывшимся под псевдонимом Алтаев. Он же отмечал «блестяще отграненные» Алтаевым-Кормером шесть соблазнов русской интеллигенции, которые, при всей разнице нынешней эпохи и времени полувековой давности, судя по всему, находятся во вполне рабочем состоянии.

Солженицын подверг критике измельчание советской интеллигенции, ее стремление к приспособленчеству и бытовым благам. Этот слой, живущий «по лжи» ради квартиры, машины и семьи, он и назвал «образованщиной». Солженицын мерил его этическими нормами, а надо было – социально-экономическими. И потому он не распознал в «образованщине» народившийся в результате урбанизации советский средний класс со стандартными для «миддлов» социальными запросами, капиллярно описанными Юрием Трифоновым в его «московских повестях» примерно в то же самое время. Даже моральный выбор этой страты возник не из-за политики, как у диссидентствующих героев Кормера в «Наследстве», а на основе бытовых сюжетов, как у Трифонова в «Обмене» или «Старике», где этические дилеммы связаны, как сказали бы сейчас, с операциями с недвижимостью.

Кормер, безусловно, тоньше Солженицына подходил к проблемам советской интеллигенции. Что естественно – он был не просто великолепным писателем. Не будучи профессиональным философом, по роду деятельности и работе в журнале «Вопросы философии» во времена главреда Ивана Фролова (по сути, антисоветском салоне под видом идеологического журнала) Кормер стремился читать западную литературу и оценивать действительность с позиций общемирового социального знания. Кроме того, русский национализм, антизападничество и мессианизм не застигли ему глаза.

В своей статье Кормер выделяет собственно интеллигенцию в узком значении, уникальную «кате­го­рию лиц» конца XIX – начала XX века, «буквально одержимых... нравственной рефлексией, ориентированной на преодоление глубочайшего внутреннего разлада, возникшего меж ними и их собственной нацией, меж ними и их же собственным государством». «Именно это сознание коллективной отчужденности» и превращало интеллигенцию в интеллигенцию. В этом смысле класс, названный после протестов 2011–2012 годов «креативным», является наследником той самой интеллигенции в узком значении. Но и в широком значении тоже, потому что у Кормера речь идет и об образованном слое, обо всех, «кто занимается умственным, а не ручным трудом». И даже еще шире – о сред­не­клас­со­вой советской интеллигенции, которая «стремится к обеспеченности, к благополучию и не видит ничего плохого в сытой жизни».

Автор безжалостен в анализе «бытовых» установок образованного слоя, но в то же время предостерегает от иронии по этому поводу, напоминая о том, какие ужасы пережила эта социальная страта в годы советской власти: «И если он (интеллигент. – А.К.) не ощущает сегодня больше своей вины перед народом, то ведь и, слава Богу, они квиты – на пятьдесят втором году советской власти (статья писалась в 1969-м. – А.К.) народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией». Обиходных понятий «ватники» и «анчоусы» тогда не существовало, но сегодняшние споры о разделенном на большинство и меньшинство народе – лишь отголоски того, что происходило с социальной структурой российского общества и 100, и 50 лет тому назад.

Двойное сознание советской интеллигенции, по Кормеру, явилось прямым следствием ее положения: она служит власти и приспосабливается к ней, потому что стремится к благополучию, и в то же время ненавидит власть и мечтает о ее крушении. Эта раздвоенность образованного класса вернулась полвека спустя в путинской России. В том числе и в виде дискуссий о возможности-невозможности сотрудничества с властью: «И, кроме того, “ведь если не они, то на их место – какие-то другие, менее интеллигентные, менее порядочные”! Партийная книжка жжет интеллигенту грудь, но он не зна-

ет, как выбраться из этого порочного круга». Интеллигент испытывает и просветительские иллюзии: «Он полагает, что там наверху и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть, что им только этого и не хватает».

К этой просветительской иллюзии близко примыкает один из шести препарируемых Кормером соблазнов интеллигенции – оттепельный. Как это и было во времена робкой модернизации по Дмитрию Медведеву, а иной раз бывает и сейчас; перемен интеллигент ждет «с нетерпением, и, затаив дыхание, ревностно высматривает все, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены».

Рядом – соблазн революционный, более жесткий, чем оттепельный: интеллигенция, пишет Кормер, «неравнодушна к словам “крушение”, “распад”, “скоро начнется” и т.д.».

И соблазн технократический, известный нам не только по временам «гаджетной модернизации» по Медведеву, когда казалось, что если каждого гражданина России вооружить айпадом, то страна тут же станет европейской. Слова Кормера о технократизации власти, близкой, например, Герману Грефу, как будто были написаны не 45 лет назад, а сегодня: «Интеллигенция (к ней автор относит и государственную бюрократию. – А.К.) не желает видеть только того, что Зло необязательно приходит в грязных лохмотьях анархии. Оно может явиться и в сверкающем обличье хорошо организованного фашистского рейха. Оно не падет само по себе от введения упорядоченности в работе гигантского бюрократического (читай “технократического”. – А.К.) аппарата».

Оставшиеся соблазны – военный, который в иных ситуациях приходит как соблазн квасного патриотизма (смыкающийся «с искушениями национал-социализма и русского империализма»); соблазн социалистический, который, в приложении к сегодняшним обстоятельствам, оправдывает отступление от нормального развития; соблазн сменовеховский, согласно которому власть, насытившись террором разной степени интенсивности, переродится в нечто вполне приемлемое и более гуманистическое сама собой.

Удивительно, но Кормер в глухое советское время, когда после вторжения в Чехословакию наступил «вельветовый сталинизм»,

говорит не просто о соблазнах, но, по сути – о необходимости их преодоления. Казалось бы, что могла сделать интеллигенция в то время? – а писатель толкует об ее ответственности за происходящее. О том, что она «явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира». В контексте жесткого социологизированного кормеровского анализа это не пафосная метафора, а рациональная констатация: интеллигенция или, если угодно, элиты несут свою долю ответственности за то, что, генерируя новые соблазны, которые на поверку оказываются лишь обновленной версией старых, делят пребывание страны в анабиозе, по Кормеру, «нового русского мессианизма».

Интересно, что технократический соблазн анализируется во вполне официальной, при этом умной и тонкой совместной статье Юрия Сенокосова и Владимира Кормера в той же июльской книжке «Вопросов философии», в которой публиковалась и Лена Немировская. Рубрика: «Социальные противоречия капитализма и идейная борьба: итоги 60-х годов»; название: «От “технологического детерминизма” к “посттехнократическому видению”».

Как обычно в статьях, критикующих буржуазные учения, речь завуалированно шла и о проблемах Советского Союза. Тем не менее, здесь разговор оказался более серьезным, с оценкой общемировых трендов, стилистически безупречный и не испорченный вульгарной запальчивой полемикой с западными «фальсификаторами» чего-нибудь.

Интересно наблюдение авторов, согласно которому западная социально-политическая мысль раскачивалась от одной крайности к другой: либо хоронила капитализм, а вместе с ним и Запад, либо объявляла послевоенную модель идеальной, способной снять все общественные противоречия.

В частности, Кормер и Сенокосов обращали внимание на сборник «На чем мы стоим?» (Wo stehen wir heute?) 1960 года, в котором поучаствовали такие величины, как Ясперс, Бубер, Тойнби и другие, и где кризис капитализма квалифицировался как «вакуум ценностей», ожидание другого, лучшего периода истории.

Среди прочего в статье Кормера и Сенокосова шла речь и о технократическом соблазне, только с другого, западного, «берега»: анализировалась трансформация капитализма – «снятие» идейных конфликтов в обществе, сведение классовых противоречий к такому уровню, «где их урегулирование становится технически разрешимой задачей». Это отнюдь не пустая тема – западная послевоенная цивилизация вроде бы достигла своего первого «конца истории», стадии государства всеобщего благоденствия, но тут начались гражданское движение и студенческие протесты, появились хиппи, альтернативисты, контркультура. Значит, противоречия не снимаются «индустриально-технологическим утопизмом и сциентистскими иллюзиями». И, значит, как утверждали авторы, обнаружилась «несостоятельность технократически-менеджеристских расчетов на то, что научно-техническая революция сама по себе разрешит все проблемы буржуазного общества». В контексте читалось – равно как и советского.

Еще одна цитата: «Р. Арон задается вопросом о связи между “изобилием” и социальными волнениями 60-х годов в буржуазном мире: происходили ли волнения, не смотря на экономический рост, вне зависимости от него или, напротив, были порождены им?». Так, в сущности, стало и с восстановительным ростом в сегодняшней России: расширившийся средний класс вслед за спросом на экономическое благоденствие в 2011–2012 годах предъявил спрос, пусть и временный, на политическую демократию.

У Лены и Юрия Петровича хранится парижское издание романа «Крот истории», за который Кормер получил премию Владимира Даля и из-за которого был принужден уйти со службы в журнале и общаться с представителями КГБ: «Танюше, Лене, Юре – моим любимым. Как я вас люблю – этого никто не знает».

Высокий, красивый, породистый, родственник знаменитого драматурга Николая Эрзмана по отцовской линии, сын репрессированного, мифишник, многое понимавший и в математике, и в НТР, и в западной философии, потрясающий застольный рассказчик, которого признавали неформальным лидером редакции

«Вопросов философии», когда оттуда ушли Иван Фролов и Мераб Мамардашвили.

После того, как «Крот истории» получил премию, Кормер был готов к посадке и почти в буквальном смысле, по словам Сенокосова, «сушил сухари». Это был человек с большими литературными амбициями, знавший себе цену, мечтавший перекрыть славу Солженицына. Пытавшийся пробить стену официальной литературы, искавший возможности опубликоваться в «Новом мире», долго, со второй половины 1960-х по 1975 год, работавший над своей главной вещью – «Наследством».

Этот роман часто сравнивают с «Бесами» Достоевского: здесь показаны все «ветераны броуновского движения», вся диссидентская рать. Но главное даже не в этом. «Наследство» оставляет ощущение запертости героев (и читателей) в наглухо закрытой коробке социальных обстоятельств, из которых они не могут выбраться. Социальные тупики дополняются ментальными: счастья нет ни в подпольной борьбе за демократию, ни в толстовских экспериментах, ни в православии. Несмотря на предъявление замечательных человеческих образцов, например, того же отца Владимира, везде ложь, амбиции, грязь, блуд, истерия, сумасшествие – и абсолютная безвыходность.

Такая книга, конечно, не могла быть официально опубликована при советской власти. Потому что она была безжалостна к этой власти – без лишних эмоций и красивых определений. Но роман не приняла и диссидентская среда, потому что Кормер показал ее мелочность и пошлость, причем не изображая нарочито обидно и карикатурно, как это сделал в «Зияющих высотах» Александр Зиновьев, с помощью этого романа порвавший и с официальной карьерой, и своим философско-дружеским кругом. У Кормера зияющие высоты пика Коммунизма дополнялись бессмысленным движением в тупик Фронды и Эскапизма. Примерно такой же роман можно было бы написать о нашем тупиковом времени, если бы у этого времени нашелся свой (быто)писатель.

А какой стилист... Вот фрагмент последней сцены «Наследства», которая разворачивается рядом со знаменитой церковью на Соколе,

здесь Кормер собрал не только героев романа, но и, как на картине Босха, всё многообразие «продуктов разных сфер», только не позднесредневековых, а позднесоветских. «Стаями бродили длинноволосые бухие парни, страшными воплями разгоняя встречных. Алкаши вымогали у проходивших копейки. Слышался возбужденный девичий смех. С замкнутыми, осуждающими лицами двигались под руку пожилые пары. Отрешенно, гордо шли бородатые неопиты. Азартом горели глаза интеллигентов. Деловито спешили куда-то подтянутые филеры в тирольских шляпках и куртках, не без презрения посматривая на собравшихся. Недоуменно переминалась компания “золотой молодежи” – подающие надежды нувориши из кинематографических жучков или дети нуворишей – при мехах и дубленках... Тут же из толпы, словно из омота времени, из глубин памяти, вынырнул еще один – по облику урка, из тех, что наводняли Москву после амнистии 1953 года, фиксатый, кепка с разрезом, модная у них тогда, белое кашне, воротник поднят. Втянув голову в плечи, он мгновенно по-воровски пропал. Затем возникли двое несусветных калек, ободранных и перекошенных, Бог весть где обретавшихся в другие дни года; безногий, с шутками и прибаутками прытко скакавший на деревяшке, вел за собой слепого».

Пожалуй, точный, слишком точный босхианско-брейгелевский портрет социальных слоев Советского Союза 1970-х годов, представленный в максимально концентрированном, но ничуть не гипертрофированном виде. Безжалостное краткое описание социальной стратификации «совка», сделанное как будто философом и социологом, но художественными средствами, стоившее сотен алармистских записок в ЦК, готовившихся тогдашними лучшими академическими институтами.

Про впечатление от «Наследства» следующего поколения интеллектуалов и о страстях, которые вызывал роман, замечательно написал Денис Драгунский, здесь уместна длинная цитата из одной его статьи: «В 1989 году мой друг Юрий Сенокосов дал мне почитать роман Кормера “Наследство” в эмигрантском издании. (Это была несколько иная, чем опубликованная ныне, редакторская, версия; на мой взгляд, она тоже имеет право на существование.) Мало сказать,

что я был увлечен этой поразительной книгой, мало сказать, что я перечитал ее еще два раза, что я давал ее читать родным и знакомым, так что Сенокосову пришлось не раз напоминать, чтобы я вернул книгу, а я все просил отсрочки: вот еще один человек прочтет, вот дочь хочет перечитать напоследок. Мало сказать, что я с восторгом принял предложение режиссера Валерия Фокина и Галины Боголюбовой (завлита “Современника” и театра имени Ермоловой) написать инсценировку “Наследства”. Увы, предприятие провалилось – отчасти по моей вине. У меня не хватило профессиональной решимости сделать из романа пьесу, загнать 600 страниц в 60. Это теперь я могу – точнее, уверен, что могу, – сделать из любой многотомной эпопеи одноактную пьесу для малой сцены. Но тогда я робел. Я напихивал в тоненькую машинопись “побольше Кормера”, побольше его необычных героев, его восхитительных сюжетных поворотов, а главное – побольше его мыслей, мыслей, мыслей. О России, об истории, о русской философии поверх границ и поколений. А также побольше черт и черточек советского интеллигентско-диссидентского житья-бытья, которое – уже тогда чувствовалось – скоро исчезнет, растает в воздухе перемен. Тех перемен, которые и сделали возможной публикацию Кормера, а для начала сделали возможным чтение его романа в эмигрантском издании без опасений последующих встречных санкций. Название, кстати, для спектакля придумалось другое: “Жили-были мы”. Фокин был за, Боголюбова возражала. Но теперь – неважно. Впрочем, наверное, если бы я написал нормально выстроенную пьесу “по мотивам”, мне бы сказали: “Да, все это очень мило, но где же Кормер, где его мысли?”. В ходе работы над инсценировкой я познакомился с Еленой Мунц, женой покойного Кормера, она показала мне авторскую редакцию “Наследства”, значительно отличавшуюся от опубликованной за границей (авторская редакция напечатана в журнале “Октябрь” в 1990 году и легла в основу нынешней публикации). Я слушал ее рассказы о Кормере, его идеях, замыслах и мечтах. Мне не удалось увидеть Кормера в жизни (хотя мог бы, наверное) – тем важнее для меня были эти встречи.

Итак, мало сказать, что целый год моей жизни прошел под знаком Кормера и его романа. Мало сказать, что и потом я спорил и даже,

бывало, ссорился с людьми, которые его недооценивали. Помню, как про повесть Владимира Кантора “Крокодил” (где, кстати, описан круг Кормера и сам он представлен под фамилией Кирхов) один мой знакомый литературовед сказал, отмахнувшись: “Да ну, кормеровщина какая-то...” – “А тебе что, Кормер не нравится?” – я поднял брови. “А тебе что, нравится?” – он поднял брови в ответ. Запахло неприятным разговором, где смешиваются литературные вкусы, политические пристрастия, религиозные убеждения и личное знакомство с прототипами персонажей. Мы оба замолчали и осторожно вышли из темы».

«Володя дисциплинированно работал каждый день: с 6 до 10 утра писал, потом ехал в редакцию, потом, – говорит, улыбаясь Ю. П., – выпивал».

Двойное сознание интеллигенции в силу двойственного положения в идеологическом журнале было свойственно почти всем коллегам Кормера. В соприкасавшихся с этим кругом других кругах одним это нравилось, другим – нет. Например, не нравилось другу Кормера Евгению Барабанову, очень рано выбравшему для себя путь противостояния системе – без всякого двоемыслия и с однозначной нравственной позицией, ставшему автором, распространителем и живым каналом самиздата.

Он помогал Александру Солженицыну, переправляя его рукописи на Запад, однажды во время поездки в социалистическую Польшу встречался с Никитой Струве. Близко дружил с отцом Александром. Евгений Барабанов в письме, адресованном мне, вспоминает Кормера: «Познакомились мы с ним, если не ошибаюсь, в середине 1960-х. Тогда мы встречались чуть ли не каждый день. Я проповедовал идеи Владимира Соловьева, Бердяева и Георгия Федотова, он – критические комментарии к ним. Оба исповедовали этику неучастия в идеологии. Вместе устроились в Институт стандартизации, где немногие присутственные дни проводили в интенсивных “мировоззренческих” разговорах. Математик по образованию, В. К. профессиональным философом не был. Он хотел быть и был литератором. Литературно мыслил, литературно воспринимал жизнь

(“материал для романа”, “характеры” и т.п.) и в “Вопросах философии” оставался литературным редактором. “Разошлись” мы из-за моего ригоризма: после его текстового участия в пропагандистском журнальчике “Блокнот агитатора”, я объявил ему, что и сама позиция Володи, и его практики оправданий двоемыслия суть циничное двурушничество, ставшее нормой для редакционных алкоголиков-“оппозиционеров” в “Вопросах философии”, но абсолютно невозможное для автора “Метанойи”. Сегодня у меня только грусть и сожаление оттого, что в свое время не увидел того значения литературологии (поклонения, служения литературе. – А.К.), что составляла саму суть внутренней жизни Володи».

Нельзя сказать, что Кормер совсем забыт. Но тираж его двухтомника, вышедшего в 2009 году, составляет 1500 экземпляров. Скорее всего, это и есть потолок нынешнего активного интереса к творчеству одного из самых ярких и талантливых семидесятников – литературному и философскому.

И это притом что в конце существования СССР казалось: Кормер заново открыт не только диссидентской, литературной и философской публикой, но и широким читателем – его главный роман «Наследство» увидел свет в «Октябре», а затем отдельным изданием в «Советском писателе», причем тиражом 50 тысяч экземпляров (сравните с сегодняшними полутора тысячами!); главная статья – «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» – опубликована в «Вопросах философии», журнале, где он когда-то проработал много лет. Потом там же, в «Вопросах...» – статья «О карнализации как генезисе “двойного сознания”», где изображена революция как карнавал: «Наблюдатели немало писали о карнавальном, театрализованном характере “молодежной революции” (1960-х годов. – А.К.). Сами ее участники также выделяли этот принципиально карнавальный, игровой ее момент как отличительный признак революции нового образца... В противовес этому мнению некоторые социологи (по нашему мнению, справедливо) утверждали, что всякой революции присуща карнавальность, ибо уже сам выход народных масс на площадь предполагает установление карнавально-

го фамильярного контакта, означает торжество духа освобождения (по крайней мере, от привычной рутины), ибо основные революционные акции – развенчание-увенчание, отмена прежнего иерархического строя, прежних моральных норм, осмеяние и уничтожение прежних святынь и т.п. – имеют прямое отношение к символике карнавала».

...Потом развалился Советский Союз, и проблемы, которые мучили Кормера и его героев, казалось, стали неактуальными (сам же он умер от рака в начале перестройки). Литературные журналы отказывались печатать неопубликованные произведения Кормера, ссылаясь на то, что они написаны давно, хотя качество лучших образцов его прозы едва ли сегодня превзошел хотя бы один из современных писателей. Прошло два с половиной десятилетия с момента открытия писателя массовым читателем – и вдруг Кормер оказался пугающе, ошеломляюще актуален.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРАЖСКАЯ ВЕСНА

В самом начале 1970-х на историческую сцену и в персональную судьбу наших героев врывается Владимир Ягодкин, секретарь МК КПСС по идеологии, преследователь либерального гнезда – журнала «Вопросы философии» при главреде Иване Фролове.

На счету идеологического ястреба множество сбитых «самолетов»: уничтожение студии «Наш дом» в МГУ, где он был секретарем парторганизации, изгнание Юрия Левады с журфака университета в 1972 году, где будущий основатель ВЦИОМа, а затем Левада-центра читал лекции по социологии, разгром второй физматшколы, той самой, в которой когда-то короткое время преподавал и Сенокосов, преследование Института конкретных социальных исследований, нуклеуса профессиональной социологии, со снятием его директора академика Алексея Румянцева, человека заслуженного и, казалось бы, с неплохими связями в номенклатурном истеблишменте.

Хотя надо понимать, что источником всех этих идеологических атак был не только Ягодкин – в одиночку ему было не справиться с людьми, которых он готов был преследовать, но и одиозный заведующий отделом науки ЦК Сергей Трапезников, и секретарь Центрального комитета Михаил Сулов, и непосредственные начальники Ягодкина, первые секретари Московского горкома КПСС – вначале Николай Егорычев, а затем Виктор Гришин.

Разумеется, помогали ястребам и доносчики, наводившие идеологическое оружие на цель – спонтанные или подготовленные заранее, которые давали импульс кампаниям преследования. Из дневника Анатолия Черняева, запись 21 февраля 1974 года: «...на днях я прочитал письмо, присланное Суворовым, секретарем партбюро Института философии АН СССР, в адрес Кириленко. Тот распорядился, чтоб Суворов был принят Гришиным и Ягодкиным. Те приняли. И приложили к письму объяснение.

По Суворову, весь наш “философский фронт” поражен ревизионизмом, и не только философский... Тут и Замошкин (завкафедрой

Ленинской школы), и Фролов (редактор “Вопросов философии”, бывший помощник Демичева)... Внизу обозначена группа, человек 12, от имени которой выступает Суворов, и просит ее принять в ЦК. Возглавляет все это академик Митин – подонок и доносчик 30-х годов, плагиатор и вор работ посаженных им людей... Гришин и Ягодкин, вместо того, чтобы пристыдить этого прохвоста, беседовали с ним несколько часов и потом «доложили» в том смысле, что МГК с 1969 г. принимал всякие меры, чтобы выправить положение на идеологическом фронте Москвы. Столько-то раз “заслушивали” в МК такие-то институты, приняли такие-то постановления, обследовали такие-то звенья, сняли пять директоров (в том числе уже упомянутого Алексея Румянцева, директора ИКСИ, до того руководившего и журналом “Коммунист” и “Проблемами мира и социализма”, и даже “Правдой”, и Павла Копнина, директора Института философии АН, вскоре после этого скончавшегося в 49 лет. – А.К.). Однако, когда вместо умершего киевлянина (до назначения директором Института философии в Москве Копнин возглавлял Институт философии в Киеве. – А.К.) назначили нового директора Института философии, их (МГК) мнения не спросили, назначили Кедрова. Вот, мол, теперь вы сами (ЦК) и расхлебывайте. На этом докладная и заканчивается. В таком виде она вместе с письмом Суворова разослана Кириленко по секретариату ЦК».

Обрушивался Ягодкин и на вполне конкретные материалы журнала, в частности, статьи, написанные Карлом Кантором и Борисом Юдиным.

По свидетельству Сергея Семанова, редактора серии ЖЗЛ в «Молодой гвардии», а затем главреда журнала «Человек и закон», близкого к условной «русской партии» в советской интеллектуальной среде, Ягодкин был убежденным русским националистом. Эта его убежденность и, возможно, вытекающая из нее почти сталинистская жесткость ко всему мало-мальски осмысленному и либеральному, помогала ему в борьбе даже не с инакомыслием, а просто разномыслием. Но в результате была признана чрезмерной: имевшие прямой ход к Брежневу либеральные спичрайтеры генсека настроили своего начальника против идеологического погромщика.

Так и с «Вопросами философии» – давление Ягодкина не привело к отставке Фролова, зато из журнала был вынужден уйти Мераб Мамардашвили. Но еще раньше из редакции ушел Юрий Сенокосов. В сентябре 1973 года они с Леной поженились, начинался новый этап в частной жизни. Но в то же время исчерпала себя и работа в журнале, который находился под жестоким идеологическим прессом. Кормер был неформальным лидером в редакции, работа в журнале вписывалась в его образ жизни. Фролов вел сложную войну с верхами. А Сенокосову, по рекомендации друзей, предложили работу в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма». В партийном словесном обороте – «ПМС».

«Проблемы» были специфическим изданием. С одной стороны, глубоко партийным, даже «многопартийным», потому что орган отвечал за формулирование позиций всех мыслимых коммунистических партий мира. С другой стороны, местом дислокации стала не Москва, а ЧССР, Прага, один из красивейших городов мира, наша, социалистическая, но Европа. Коллектив – многонациональный и разноязычный. Главные редакторы – далеко не всегда, но в отдельные периоды истории журнала – знаковые номенклатурные либералы, академики Алексей Румянцев и Юрий Францев. И это давало чувство свободы. Да и сам по себе чешский язык казался языком свободы.

Через «ПМС» прошли партийные либералы разных поколений – от Ивана Фролова, Мераба Мамардашвили и Юрия Карякина до гораздо более молодых по сравнению с классиками Виталия Дымарского и Сергея Ястржембского, от Георгия Арбатова до Георгия Шахназарова и Владимира Лукина, от Анатолия Черняева до Отто Лациса, от... В общем, много кто прошел.

Борис Грушин, работая в Праге, добросовестно, как настоящий социолог, посетил все 900 пивных и написал про них, про надписи, которые оставляли посетители на стенах, книгу «In pivo veritas» (истина в пиве). Юрий Карякин делал в кабинете стойку на голове и его ноги были видны из соседних зданий, что сильно напрягало местные спецслужбы. Мераб Мамардашвили общался с французом Пьером Бельфруа, совершенствовался во французском и итальянском. Рекорды были самыми разными – кто-то выпил 12 кружек пива под-

ряд, кто-то, как, например, Вадим Печенев, будущий помощник генерального секретаря Константина Черненко, знал все позиции всех значимых членов ЦК всех значимых компартий по тем или иным вопросам. Коммунистические семинары давали возможность попасть в «настоящую» Европу, например, в Рим. Прага и журнал, располагавшийся в по-своему, по австро-венгерски величественном здании редакции, бывшей архиепископальной семинарии, – это была мечта любого околопартийного интеллектуала.

Конечно, в большей степени интеллектуальная вольница была характерна для 1960-х годов. Степени свободы и эйфории до 1968 года и после – совершенно разные. И, тем не менее, в советской интеллектуальной прослойке «пражане» были заметны, прежде всего, как носители фермента внутрисистемного, а иной раз и антисистемного либерализма.

Однако свобода эта была для «пражан» все равно, скорее, внутренней, чем внешней, особенно в годы политических заморозков. После годичной проверки Юрий Сенокосов попал в Прагу в журнал, который редактировал Константин Зародов. В те времена могли в 24 часа изгнать из журнала любого, как это сделали, например, с Отто Лацисом – за рукопись о Сталине. За несколько лет до этого столь же стремительно изгнали из «ПМС» Владимира Лукина, который неправильно себя повел после ввода советских войск в Прагу. Характерный фрагмент из его воспоминаний о скоростной высылке: «...понимал, что произойти с нами в Москве может всякое. В самолете оказались все, кто возражал против ввода войск. Поэтому мы вылетели в полную неизвестность, я не знал, где нас приземлят. Но когда мы вышли из самолета в Москве, то сразу был хороший знак: нас пришел встречать представитель международного отдела ЦК, который занимался журналом “Проблемы мира и социализма”. Это уже был плюс. Я в Москве дал себе зарок: неделю не звонить друзьям и не посещать никого, потому что был уверен, что будет слежка и все такое прочее... Поэтому, думаю, посмотрю-ка я. Но все друзья уже на следующий день стали звонить сами, потому что где-то по радио сообщили, что группу недовольных

советских выслали из Чехословакии, даже вроде бы фамилии назывались».

Сенокосов был свидетелем этой истории, которая продемонстрировала отсутствие страха у московских интеллектуалов. Спустя несколько месяцев в «Вопросах философии» была опубликована статья Лукина, и Георгий Арбатов пригласил его на работу в Институт США и Канады.

Прямой и горячий Юрий Сенокосов, оказавшись в журнале в отделе теории, однажды послал на три буквы своего шефа, выходца из ГБ. А в другой раз после посещения пивной прямо в редакции начал громко рассуждать о советской власти. И не мог остановиться. Лена после увещеваний нашла способ спасти ситуацию – сорвала с мужа очки. От неожиданности он замолчал.

После конфликта в отделе теории попытка перейти в другой отдел – к Егору Яковлеву, будущему редактору перестроечных «Московских новостей», закончилась неудачей. Это был отдел критики и библиографии, и Сенокосову было предложено написать рецензию на книгу о разоружении – текст был сочтен пацифистским.

Юрий Петрович в результате оказался в отделе Александра Волкова, где надо было брать интервью у больших партийных начальников из разных стран. Ю. П. общался уже не с академиками и интеллектуалами, как это было в «Вопросах философии», а с секретарями и даже генсеками ЦК разнациональных компартий, что само по себе оказалось очень нескучным опытом. Вот эпизод из мемуаров Александра Волкова, одним из действующих лиц которого был и Юрий Сенокосов:

«А в Праге нашим общим с греками мероприятием, хорошо запомнившимся, был диалог двух высших партийных руководителей: первого секретаря ЦК Компартии Греции Харилаоса Флоракиса и генсека ЦК Компартии Колумбии Хильберто Виейры. Мы организовали его во время очередного большого совещания по работе журнала. Эпизод запомнился, пожалуй, прежде всего, своими юмористическими составляющими.

Флоракис – легендарная фигура. В Компартию Греции вступил в 1941 году, в 1943–1944 годах сражался против немецких оккупантов

в рядах Народно-освободительной армии. В годы гражданской войны в Греции (1946–1949) занимал ряд командных должностей в Демократической армии Греции, был командиром 1-й дивизии. После отступления разбитых коммунистических отрядов из Греции находился в СССР и Румынии. Нелегально вернулся в Грецию в 1954 году, тогда же был арестован и приговорён к пожизненному заключению, а в 1966 под давлением народного движения освобожден. После государственного военного переворота в апреле 1967 стал первым политиком, арестованным режимом “черных полковников” и находился в заключении до апреля 1972-го. В декабре того же года стал первым секретарем ЦК КПГ. После выхода партии из подполья в 1974 году (а она была подпольной 27 лет) благодаря его усилиям партия смогла адаптироваться к новым условиям и приобрела значительное влияние в политической жизни страны.

Когда мы предложили ему встретиться с Виейрой и сопоставить задачи, которые приходится решать, обменяться опытом и взглядами на проблемы коммунистического движения, Флоракис сразу согласился. А вот Виейра – нет. Почему – даже трудно было представить. Тогда мы решили пойти на обходный маневр, а можно сказать, и на некоторое хулиганство. Во время обеденного перерыва я заговорил с Флоракисом около вешалки, куда все шли за верхней одеждой, то есть задержал его. А Юра Сенокосов, в то время сотрудник нашего отдела, встретил Виейру на подходе и навел его на то место, где стояли мы с Флоракисом. Получилось, что они столкнулись, будто случайно. Я сразу же сказал:

– Товарищ Флоракис, вот как раз товарищ Виейра, с которым мы вам предложили встретиться для диалога.

Поскольку с Виейрой разговаривал на эту тему не я, вроде бы я и не знал о его отказе, а поскольку они лично не были знакомы, представить их друг другу было естественно для сотрудников журнала. Мне казалось, что при такой личной встрече Виейре будет просто невозможно отказаться от беседы с коллегой. Но он оказался не прост, вспыхнул и довольно раздраженно заметил:

– Но ведь я не давал согласия на такой диалог!

Мне показалось, что Флоракис мгновенно просек ситуацию.

Крупный красавец с седыми волосами и посеребрёнными усами, он обнял за плечи низкорослого и лысенького Хильберто и добродушно заговорил:

– Дорогой друг! Мы ведь с тобой врагам никогда не сдавались, мы жестко с ними боролись, а русским друзьям-журналистам давай сдадимся!

И Виейра сразу как-то расслабился и заулыбался. С Флоракисом ему и неудобно было бы не согласиться.

После очередного пленарного заседания уселись в уютной комнате. Посредине ее поставили столик, на нем микрофон для записи беседы и чашечки с кофе, Флоракис и Виейра сели в кресла друг против друга, я оказался между ними – первый слева, второй справа, Юра напротив меня. Почему-то не помню, кто был из переводчиков. И диалог начался. Флоракис заговорил первым. Учит ли нас чему-то прежний революционный опыт, а шире – учит ли история? – так он поставил вопрос. И беседа покатилась.

Где-то к середине ее, когда говорил Виейра, Юра вдруг громко стукнул, ставя кофейную чашечку на блюдце. Я дернулся, но продолжал смотреть на Виейру. А через минуту Юра встал и громко хлопнул форточкой, зачем-то закрывая её. Я уже удивленно посмотрел на него, а он кивнул в сторону Флоракиса. Тогда и я повернулся налево, к нашему греческому другу. Тот, свободно развалившись в кресле... спал, чуть даже посапывая и вздымая глубокими вдохами-выдохами пышные усы. Что делать? Откровенно будить неудобно! Я вытянул под столом ногу и лягнул Флоракиса. Он открыл глаза и тут же, как будто все внимательно слушал, спокойно сказал:

– Вы абсолютно правы, товарищ Виейра!

И продолжал даже вразумительно обосновывать, в чем и почему тот прав. Конечно, Виейра обиделся, я уже потом сам себе удивился, что ничего не заметил... Но никто больше и виду не подал, что нечто произошло, диалог, в общем-то, по тем нашим меркам, вполне удался».

На свою первую летучку в редакции Юрий Сенокосов пришел в джинсах. «Ты себя так не веди», – сказал Зародов. Приходить надо

было в костюме и галстуке. Тем более на редколлегии, где присутствовало по 80 и более человек из самых разных стран: где еще увидишь такой коммунистический Ноев ковчег – представители ЮАР, Индонезии, заметные еврокоммунисты и незаметные мелкие партии из какой-нибудь Голландии, на которые никто не обращал внимания в их стране, зато они становились объектами пристального внимания международного отдела ЦК КПСС. И все эти партии с удовольствием существовали на деньги «старшего брата». Ну, а Ю. П. на фоне этого разноцветья пришлось покупать костюм, однако на галстук он так и не согласился. И никто не видел его в галстуке. Во всяком случае, мне – не довелось...

Тем не менее, идеологическая убогость журнала была очевидна. Об этом свидетельствует невольный контент-анализ, проведенный одним техническим работником редакции, и запомнившийся сотруднику «ПМС» Льву Степанову: «Предварительно подготовленные тексты переводились и размножались на ротаторе, у которого долгие годы стоял пожилой технический работник, чех. Пришел ему срок уходить на пенсию, и на своих проводах он – тихий, скромный человек – заявил, что хотел бы на прощание разрешить мучившую его все это время загадку: что такое “струггле”? “Если у меня шла статья на английском, – пояснил он, – я заранее знал, что на каждой странице это слово встретится раз десять. Так что же это такое?”».

Разумеется, речь шла о слове *struggle* – борьба, ключевом для коммунистического вокабуляра.

«ПМС», конечно, был одной из идеологических структур, многие работники которой обладали тем самым кормеровским «двойным сознанием». И, в общем, не видели в этом ничего зазорного. Хотя балансировали на грани: кто-то мог провалиться в диссидентство, иные – пойти вверх по этажам партийной иерархии. А так все выглядело, как в замечательной песенке, ядовитой и точной, философа Эриха Соловьева, человека из блестящей когорты выпускников философского факультета МГУ конца 1950-х годов.

Как-то раз, против совести греша,
Я попал на совещанье в ВППШ.

Думал встретить там матерых старичков,
Составителей ядерных ярлычков.
А там ребятки, румяные и левые,
Все больше Гарики, Арнольды и Глебы.
А в глазах у них – Тольятти и Торез,
И здоровый сексуальный интерес.

Так и быть, исповедуюсь тебе.
Меня раз пригласили в КГБ.
Ну, я, конечно, одеваюсь и лечу,
Уж к матерому, считаю, сычу.
А там ребятки, румяные и левые,
Все больше Гарики, Арнольды и Глебы,
А в глазах у них – Тольятти и Торез,
И здоровый сексуальный интерес...

Сейчас уже приходится напоминать, что «левые» в тогдашней системе политических координат означало – либеральные. Тольятти и Торез, а главное, их последователи, по воспоминаниям Ю. П., очень не нравились представителям арабских компартий...

Несмотря на все эти естественные «партийно-правительственные» издержки и понимание того, что «ПМС» был идеологической кормушкой бог (точнее, Маркс) знает каких структур, вплоть до, возможно, террористических, жизнь в Праге в 1970-е годы сильно раскрывала персональный человеческий горизонт. Круг общения был первоклассным. На это время пришелся второй приезд в Прагу Бориса Грушина. Вместо Георгия Шахназарова, будущего близкого советника Горбачева, на место ответственного секретаря приехал другой будущий советник генсека-реформатора, бывший главред «Вопросов философии» Иван Фролов. Работали переводчики, знавшие по 20 языков – журнал выходил на 34 языках и распространялся в 75 странах. В «ПМС», включая кураторов журнала из международного отдела ЦК, собралась, по выражению Лены Немировской, «прогрессивная часть человечества на официальных должностях».

«Они относились ко мне хорошо, но не всерьез, – вспоминает Лена. – Отчасти потому, что я была чужда такому разумному государственному мышлению. Хотя многие из этих людей потом делали перестройку».

Лена Немировская работала в Праге в советском Доме культуры, которым руководил Виктор Греков. Он, как выяснилось позже, был комитетчиком, следил за всеми сотрудниками. О чем, впрочем, не сложно было догадаться – кем еще мог быть руководитель учреждения, ответственного за «мягкую силу». Тем не менее, Лена, человек, способный выстроить коммуникации даже там, где это невозможно, немедленно сформировала свой круг общения, причем по составу такой же, как в Москве – преимущественно из представителей чешской вольнодумной среды – художников, музыкантов, артистов. «Мы были почти единственными, кто в то время дружил с чехами», – констатирует Юрий Петрович. Разумеется, на все это не могла не обратить внимания чехословацкая госбезопасность. «В Праге я по-настоящему понял, что такое великодержавный шовинизм. Кожей почувствовал, насколько чехословаки зависят от Большого брата», – вспоминает Ю. П.

И в то же время – пивные, рестораны, книги, полусоветские и совсем не советские друзья, разговоры. Магазины. «Я реализовала там свою женскую свободу», – говорит Лена, вестернизированная экстравагантность которой в Праге, в отличие от Москвы, казалась более естественной. И вообще столица Чехословакии стала компенсацией за однообразие жизни в СССР: Прага формировала в собственном смысле слова буржуазные вкусы. И эта, по определению Лены, «осознанная буржуазность» не обязательно должна была быть антисоветской. Она была несоветской.

И, разумеется, не это было главным. Прага, которая нарастила, несмотря на фон, заданный 1968 годом, превосходные человеческие связи и отношения, лишь усилила в Лене и Юре желание еще большей свободы. «Благодаря Праге мы сохранили себя».

Человек предполагает, а органы безопасности располагают. На слишком свободно жившую в Праге чету донесла чешская гэбэ.



Лена Немировская. Так открываются семинары



Специалист по международным
отношениям Фёдор Лукьянов



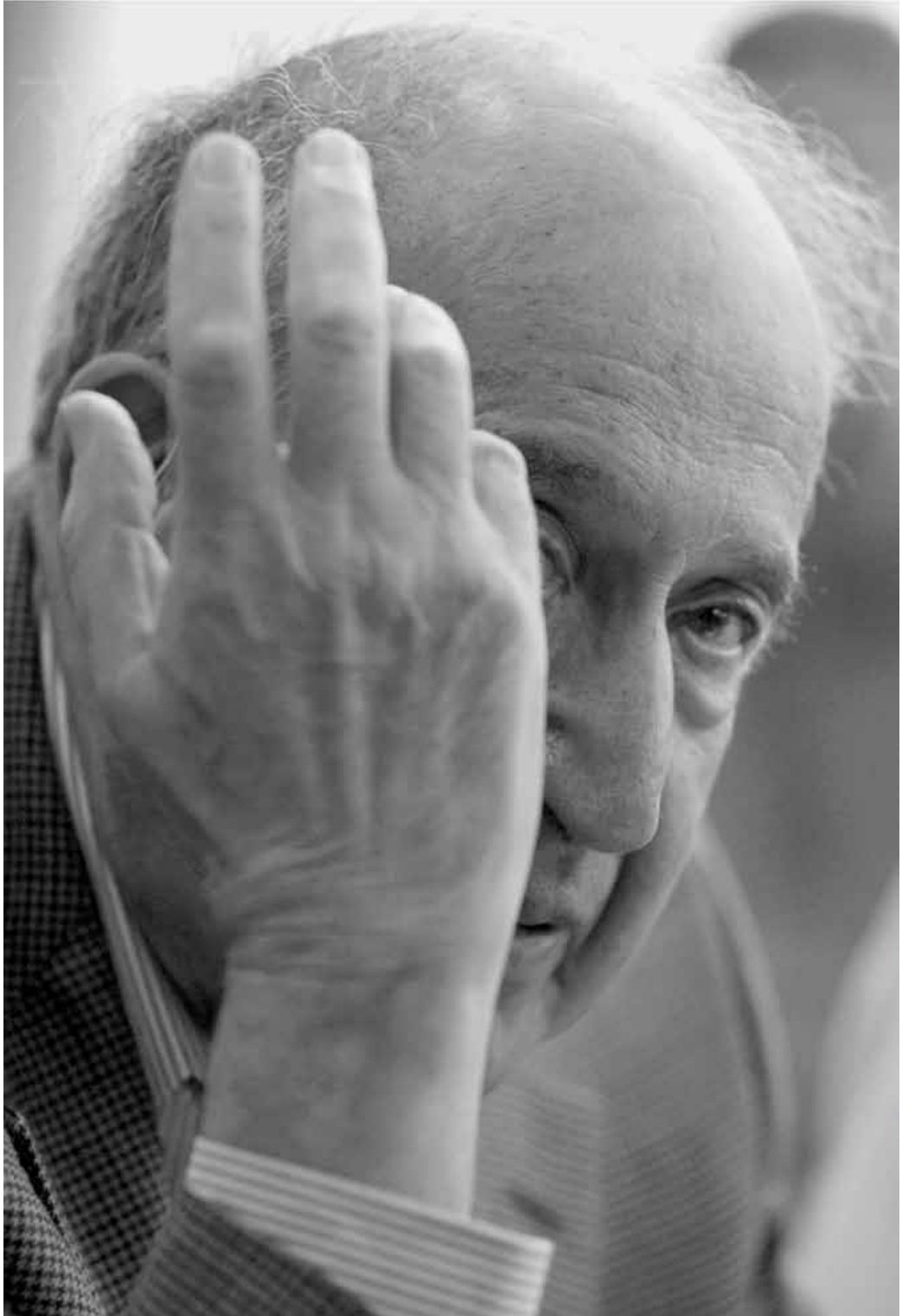
Один из ведущих тьюторов
Школы Леон Конрад



Политолог
Алексей Макаркин



Экс-министр финансов
Михаил Задорнов
активно помогал Школе



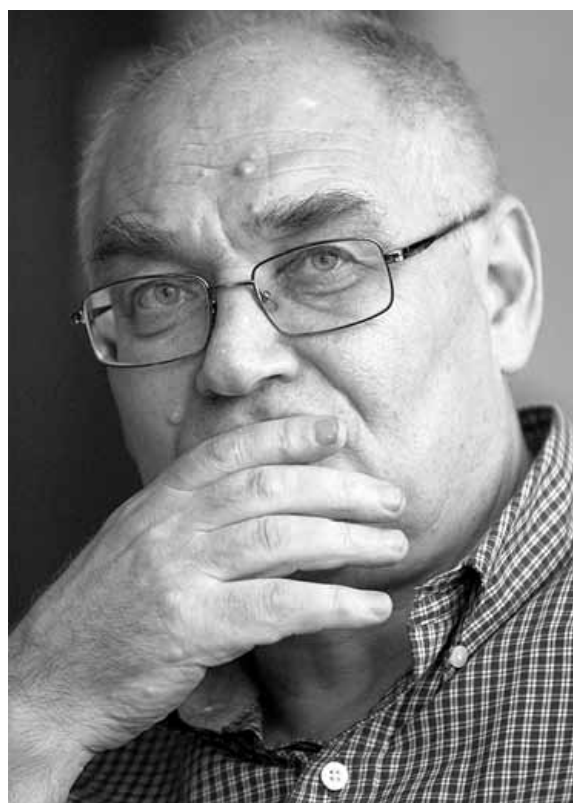
Американский историк Ричард Пайпс



Баронесса Ширли Вильямс, основатель британской партии
Либеральных демократов



Выдающийся мыслитель
Ральф Дарендорф
стоял у истоков Школы



Социолог Лев Гудков



Спичрайтер
Гельмута Коля
Михаэль Мертес



Иван Крастев,
болгарский политолог



Слева направо: Владимир Лукин, Ричард Нойштадт – известный американский историк, Владимир Рыжков



Энн Эпплбаум, автор великолепных книг о ГУЛАГе и послевоенной коммунизации Восточной Европы



Школа многим обязана Джорджу Соросу



Кристофер Коукер,
профессор Лондонской
школы экономики,
одно из ключевых
лиц Школы



Франсуа Мишлен –
тот самый «Мишлен»



Гарольд Берман, выдающийся
американский правовед



Катрин Лалюмбер,
будучи председателем
Совета Европы, дала старт
проекту Школы



Сэр Бернард Ингам, пресс-секретарь Маргарет Тэтчер,
тоже выступал на семинарах в Голицыно



Михаэль Сульман, бывший исполнительный директор
Нобелевского комитета – один из сооснователей Школы



Предприниматель
Сергей Петров,
много сделавший
для гражданского
просвещения в России



Друг Школы, корреспондент
«El Pais» в Москве, Пилар Бонет



Альваро Хиль-Роблес,
европейский комиссар
по правам человека,
участвовал в становлении Школы.
Справа – переводчик с испанского
Александр Казачков



Выпускник Школы,
модератор семинаров
и эксперт Андрей Захаров



«Роман» с Генри Киссинджером был непростым,
но он все-таки прочитал лекцию в Школе

Но Сенокосов вместо того, чтобы ждать, когда его вышлют из Праги, отметив свой день рождения в Пражском Граде (так совпало) на приеме, устроенном в честь участников прошедшего совещания секретарей ЦК компартий в присутствии самого заведующего международным отделом ЦК Бориса Пономарева, решил уволиться из журнала, что, видимо, вызвало недовольство спецслужб. По возвращении в Москву у Сенокосова забрали паспорт, сказав, что отдадут его после того, как устроят на работу.

В результате второй раз в своей биографии Юрий Петрович Сенокосов оказался человеком без паспорта.

Что было удивительным хотя бы потому, что «опасности для общества» сотрудник идеологического журнала не представлял. А если бы такой сотрудник хотел остаться за границей и сбежать из Чехословакии на Запад, едва ли он стал бы возвращаться перед этим в СССР. Но у компетентных органов своя логика.

По большому счету, официальная карьера Ю. П. была сломана. Обычно после работы в «Проблемах мира и социализма» оправдавшие доверие интеллектуалы попадали на хорошие должности в академические институты и журналы, партийную печать, а то и в ЦК. Иной раз брезжила и перспектива возвращения в Прагу на более высокий пост. Но что взять с человека, который так и не научился носить галстук. И не приобрел этого навыка даже в почтенном возрасте – надо ли говорить, что годы спустя купленный специально для празднования 85-летия Джорджа Сороса галстук был забыт Юрием Петровичем в отеле...

Потому-то путь Сенокосова лежал в специфическое издание под названием «Общественные науки в СССР», в котором публиковались в переводах статьи советских авторов для зарубежных читателей. Руководитель издания тоже был специфический – чекист Иосиф Григулевич.

Григулевич заслуженно считался специалистом по Латинской Америке, и каким! Уроженец Вильно, как говорят, из караимов. Бывший разведчик-нелегал, участник подавления партии РОУМ (Рабочей партии марксистского объединения), в годы испанской гражданской войны занимавшей антисталинистские позиции, и убийства

одного из ее лидеров Андреса Нина, один из организаторов первого неудавшегося покушения на жизнь Троцкого. Посол (!) Коста-Рики в Италии, Ватикане и Югославии (под именем Теодоро Кастро), один из основателей Института этнографии и Института Латинской Америки, автор биографий Че Гевары и Сальвадора Альенде... Уж не судьба ли этого человека и его положение в советской иерархии подтолкнули Владимира Кормера к написанию романа «Крот истории», где повествование ведется от лица партийного работника, курирующего «революционные процессы» в маленькой латиноамериканской стране?

Перед московской Олимпиадой-1980, которая наступила вместо коммунизма, обещанного на этот год Программой партии, Сенокосова пытались вытурить из столицы за 101-й километр, как очищали Москву от бомжей и проституток. Вызывали для этого в райвоенкомат... Но вскоре произошли еще более значимые события.

«Однажды в субботу – не рабочий день – меня вызвали в редакцию журнала, которая находилась в доме прямо под квартирой Лосева на Арбате. В кабинет зашел высокий молодой чекист, – вспоминал Юрий Петрович, – и говорит: “Можно забрать этого человека на Лубянку?”. “Это же наша организация!” – понимающе развел руками Григулевич. На улице стоит ЗИЛ, за рулем еще один молодой человек. Поехали со старого Арбата на Лубянку. Потом один из них спрашивает: “Может, сначала домой?”. Повернули на Кутузовский, подъехали к дому, у подъезда стоят понятые. Зашли в квартиру».

С типично гэбэшной – циничной фразы «Хотим посмотреть, как ты живешь» – начался обыск. Забрали все книги русских философов, изданные в Париже. На письменном столе лежали две распечатки лекций Мераба – забрали и их. После этого Сенокосов три месяца ходил на допросы, в результате чего родилось три тома дела (на Юрия Леваду в свое время собрали пять томов). Должны были сажать за распространение антисоветской литературы. На неформальных собраниях друзей пытались придумать, что в этой ситуации можно сделать. Спасло одно обстоятельство.

На одной лестничной площадке с Олегом Чухонцевым, с которым дружили Лена и Юра, жила семья, которая в это время уехала в Израиль. На допросах Ю. П. сказал, что все книги купил у этой семьи, вот по такому-то адресу. Подтвердить или опровергнуть этот факт было невозможно, потому что владельцы книг уже отбыли за границу. Адрес же и фамилии были подлинными. И дело стали спускать на тормозах, тем более, что клиент оказался упрямым, и, например, не дал требуемых показаний на Мераба Мамардашвили. Да еще произнес фразу, которая оказалось пророческой: «Не пройдет и десяти лет, как эти книги будут изданы в нашей стране».

Действие этой драмы, словно вышедшей из-под пера Тома Стоппарда, проходило в 1980-м. А в конце 1980-х Юрий Петрович курировал издание некогда запрещенной в СССР дореволюционной философской литературы, затеянное философом Анатолием Яковлевым, сыном одного из архитекторов перестройки Александра Николаевича Яковлева, в качестве приложения к журналу «Вопросы философии».

Причем происходило это в тот период, когда надо было спасти дочь Таню от болезни и переправлять ее за границу. И здесь опыт допросов, точнее, их осмысления, привел Ю. П. к выводу, который помог в трудной ситуации и Тане. Во время допроса в Лефортово в 1972 году по делу источниковеда Габриэля Суперфина он пережил, по его словам, настоящее освобождение от чувства вины. «Какого черта я пришел на этот допрос, когда я не виноват! – подумал он тогда, сидя перед капитаном госбезопасности. – Ведь это последствия пережитого страной террора, и это страх людей, которые стоят у власти и хотят, чтобы мы верили им в том, что власть была права». Эта обретенная внутренняя свобода очень помогла ему морально. Таня знала об этом. И когда ее отправляли в Италию и на границе в Чопе отобрали подаренный о. Александром Новый завет и ключи от квартиры со словами «Ты сюда больше не вернешься», она не испугалась. Потом она позвонит Юрию Петровичу и скажет: «Папа, я вела себя так, как ты меня учил!».

Провокации компетентных органов были неизбежны: балансирующий на грани ареста Сенокосов, отправленная за границу дочь

Таня, на великого коммуникатора Лену, которая в то время работала в Ленинской библиотеке, наверняка тоже много чего накопилось. И, конечно же, однажды ее остановили на улице. Прямо на мосту, который идет от Калининского проспекта, ныне Нового Арбата, к Кутузовскому и дому за гостиницей «Украина» (в квартиру, бывшую коммуналку, хоть это и Кутузовский, они въехали, обменяв Юрину комнату и квартиру в Ажурном доме, в 1975 году). Немировская, чье свободолобие напрямую конвертировалось в одежду, была облачена в длинное полосатое пальто, красные джинсы и такого же пролетарского цвета ботинки. Одевание якобы не понравилось милиционеру. Но надо знать, как жестко Лена умеет разговаривать – остолбеневший милиционер получил урок гражданского просвещения и, возможно, впервые в жизни узнал, что нельзя просто так привязаться к человеку. К тому же, как объяснила ему Лена, тут рядом живет Брежнев и устраивать у него под носом скандал нехорошо. Закончив монолог, Немировская просто сбежала от оторопевшего блюстителя порядка. Сбежала в свою квартиру, откуда недавно вывезли запрещенную литературу.

А Юрий Петрович улетел к Мерабу Мамардашвили в Тбилиси – приходит в себя после обыска и допросов.

Люди-ключи: Мераб Мамардашвили

Любой, ну или почти любой разговор с Юрой и Леной сходится в результате в одной точке – Мераб Мамардашвили. Наверное, Немировская и Сенокосов нужны были ему в Москве так же, как родная сестра – Иза Мамардашвили в Тбилиси. Он имел две точки опоры в двух городах. И не случайно в день смерти философа Лена, искавшая Мераба во «Внуково», назвала себя его сестрой – это, по сути, было так. С ними он проводил больше всего времени – подолгу жил в московской квартире, вместе они ежегодно, в течение 17 лет, отдыхали в абхазском местечке Лидзава недалеко от Пицунды. Иногда Сенокосов становился мостиком для значимых человеческих открытий, как это произошло при случайном знакомстве Мамардашвили с отцом Александром Менем. Во времени и месте сошлись люди-ключи.

Произошло это в той же Абхазии. Лена, Юрий и Мераб пришли на рынок в Пицунде за хлебом, сыром и вином. Подошли к кафе, чтобы выпить кофе. И вдруг увидели Александра Меня, он был вместе с религиоведом Сергеем Рузером, который потом, уже в другой жизни, станет преподавателем в Еврейском университете в Иерусалиме. «Алик!» – окликнула о. Александра Лена. «Мы двинулись все вместе в Лидзаву, – вспоминает Ю. П. – Вошли в дом. Сережа, Лена и я решили не мешать о. Александру и Мерабу. Они сели и начали общаться – так, как будто каждый ждал этой встречи. Сидели до вечера. С тех пор всякий раз, когда Мераб появлялся в Москве, мы отправлялись в поселок Семхоз недалеко от Сергиева Посада, к Меню».

Потом Ю. П. напишет: «Было очевидно, и сегодня я в этом уверен, что на наших глазах происходила тогда символическая встреча выдающегося философа и выдающегося священника. Символическая в том отношении, что, несмотря на совершенно разный жизненный опыт, встретившись впервые, они поняли друг друга с полуслова».

Это были контрастные люди: сосредоточенный и невозмутимый Мамардашвили и открытый, со смеющимися глазами Мень. Кончи-

на каждого из них произошла вскоре, в 1990 году. Тогда же, к концу 1990-го, планировался запуск Школы, в Лондонском университете, с их участием – известного священнослужителя и великого философа. Собственно, Школа и могла стать применением опыта формирования атмосферы непосредственного общения незнакомых друг с другом людей. Той атмосферы, которую создавали в ходе своих проповедей отец Александр и во время своих лекций Мераб Мамардашвили.

Мамардашвили – единственный советский публичный интеллектуал мирового уровня. Он и жил в контексте не русской или советской, а именно мировой философии, в основном во французской и итальянской языковой среде, потому что свободно говорил и читал на этих языках, иногда прибегая к английскому.

Для советской интеллигенции он был своего рода поп-фигурой. Вероятно, из-за своего «сократизма», устной традиции передачи философского знания: пленки с его лекциями ходили так же, как записи песен Окуджавы, Галича, Высоцкого. Которые, впрочем, для Советского Союза тоже были публичными интеллектуалами, потому что наряду с сам- и тамиздатом их творчество было способом критического осмысления действительности. Лекции же Мамардашвили оказывались такой же попыткой публичного мышления, только в другой форме, не в стихах и песнях. Это само по себе было фрондой в ситуации доминирования негнущейся государственной идеологии, которая оставалась одной из ключевых причин отставания и провинциальности сверхдержавы.

Хотя критическое отношение к идеологии Мамардашвили считал своего рода оксюмороном, сочетанием несочетаемого: «Спрашивать, почему идеология не критична, – это высказать абсурдную моралистскую мысль... элементарная, исходная функция государства – это чтобы совместная жизнь не была адом... Идеология выполняет аналогичную роль». И она, по мысли Мамардашвили, высказанной им в одной из Вильнюсских лекций по социальной философии, отлична от продуктивной человеческой мысли. Потому что идеология по определению и есть «клей» общественных структур, «то есть такое их сцепление через сознание, посредством которого

воспроизводится именно данная социальная структура, а не какая-то другая».

Функция идеологии – «клеить», держать и не столько сохранять, сколько охранять сложившийся социальный порядок. Не принимая его, оставаясь свободным человеком, Мераб Мамардашвили в то же время спокойно-аналитически к нему относился, понимая природу советского государственного и общественного устройства, зная ее изнутри и изучая почти сторонним взглядом добросовестного исследователя.

Заметим попутно, что «общественно-политическую» мысль, в том числе русскую и советскую, философ оценивал как социально-утопическую, называл ее социальной алхимией, которая не в состоянии адекватно описать действительность или извлечь уроки из истории, потому что все тезисы и термины ее предустановлены, заранее доктринально сформулированы.

Такая модель восприятия действительности и в самом деле не предполагает того, что называется «извлечением уроков», мы видим это на примере любой эпохи российской истории, в том числе сегодняшней. И такая модель, если она тиражируется средствами массовой информации, естественным образом превращается в пропаганду, способствуя тем самым закреплению предубеждений и постулатов социальной алхимии.

В лекции из курса «Очерк современной европейской философии», прочитанного в 1978–1979 годах во ВГИКе, Мамардашвили разъяснял: «Посмотрите на молекулярные и прочие скрытые движения и шевеления русской культурной массы, и вы увидите странную вещь: все возвращается на круги своя, как будто не прошло шестьдесят-восемьдесят лет, ничего не происходило, все те же самые связки, сцепления. Почему такая потрясающая иммунность по отношению к тому, что можно и нужно извлечь из исторического опыта? Да просто потому, что это алхимическая мысль, а не историческая или социальная мысль, – там нет опровержений. Алхимия всегда права, потому что задача ее не в том, чтобы описать, установить, что есть на самом деле, а в том, чтобы изжить и реализовать, изживая через термины описания свои состояния. Отсюда, конечно,

и сила современной алхимической мысли, удесятеряемая техническими средствами информации».

Вот так, применяя опыт свободного мышления в несвободных обстоятельствах, не называя советскую идеологию, Мамардашвили рассуждал именно о ней. А в записных книжках выносил приговор: «Всякая идеология доходит в своем развитии до такой точки, где ее эффективность состоит... в том, что она не дает сказать».

Размышлять о Прусте в середине 1980-х так же, как лет за тридцать до этого самые продвинутые советские философы, и в их числе, например, Александр Зиновьев или Эвальд Ильенков, рассуждали о глубинной логике «Капитала» Маркса (потолок разрешенной осмысленности в то время) – это было нестандартно. За эту самую способность мыслить – не антисоветски, а просто несоветски – Мераб Мамардашвили и был изгнан со всех своих работ в Москве, и провел последние десять лет жизни – с 1980-го по 1990-й – в Тбилиси, в неотапливаемом доме в квартале Ваке, на проспекте Чавчавадзе, в комнате, выходящей огромными окнами во двор.

И в то же время размышление о Прусте стало возможным потому, что советская власть, озабоченная подавлением прямого политического несогласия, упустила другое: возможность глубины. Можно было изучать Канта, Декарта, античную философию. Но и думать по поводу Канта, Декарта, античной философии...

Кто-то, быть может, видел в Мамардашвили конкурента. Иные считали, что он должен уехать. А он ни с кем не конкурировал. Жил в Декарте и Канте, оставаясь гражданином мира в ситуации, когда невозможно было быть гражданином собственной страны – в подлинном смысле этого слова. И удивленно задавался вопросом: «А почему я должен уезжать?».

Мамардашвили называл себя метафизиком, как бы говоря: занимаюсь самыми глубокими вещами, не ищите во мне поверхностного и политического. Он был одиночкой, индивидуалистом, – принципиально не принимал подполья, тем более группового, считал, что культура может быть только открытой, не катакомбной. «Уважение законов и отсутствие желания обязательно носить какой-либо от-

личительный колпак и ходить на манифестации протеста всегда давало и даст, представьте, возможность свободно мыслить», – почти запальчиво отвечал он на вопросы читателей журнала «Юность» в 1988 году.

Он и здесь шел против течения, придерживаясь почти набоковской позиции неучастия в клубах и кружках (Владимир Набоков подчеркивал, что никогда не состоял ни в одном клубе, кроме теннисного и говорил: «Все, что мне требуется от государства – государственных служащих, – это личная свобода»). Потому что хотел смотреть глубже, а для мышления, процесса думания ему не нужны были «схоластика» и «дробление костей». В 1989-м Мамардашвили сказал: «Не участвуй в этом ни “за”, ни “против”, – само рассосется, рассыплется. Делать же нужно свое дело, а для этого следует признать право на индивидуальные формы философствования».

«Делать свое дело» – это было его способом существования при советской власти. И не продаваться этой власти. «Что значит достойно мыслить? – задавался вопросом философ 16 мая 1985 года, читая одну из своих прустовских лекций. – Не порождать в своей мысли никаких самоутешительных ложных состояний. В мировом опыте веков, который нам завещан, эта позиция символически обозначена фигурой человеческой сделки с дьяволом. Ведь что значит – продать душу дьяволу? Почему это считается грехом *par excellence*?... Одно дело совершать грех, а другое дело подводить под него идею. Подведение идеи под грех и есть продажа души дьяволу, и больше ничего». Это, безусловно, касалось тех интеллектуалов, которые сотрудничали и сотрудничают с диктаторами и диктатурами.

После работы в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма» Мераб вместо возвращения в СССР отправился в гости во Францию к своему другу Пьеру Бельфруа и пробыл у него два месяца. Этот акт свободного поведения естественным образом завершился приглашением в органы и диагнозом: «Мы знаем, вы считаете себя самым свободным человеком в стране». Так оно и было. Только после этой истории на два десятка лет Мамардашвили стал невыездным – жил в языках, в основном в тех же самых французском и итальянском.

Возможность выезда за границу потом для него пробивал Анатолий Адамишин, замминистра иностранных дел. Кстати, друг Юлии Добровольской. Еще одно пересечение людей-ключей.

Мамардашвили не укладывался ни в какие кружки – это был одиночка со своим стилем мышления. Который, как выяснилось на поверку как раз в годы перестройки, оказался в наибольшей степени адаптивным к эпохе: когда все вокруг сходили с ума от обрушившейся свободы, кидались из крайности в крайность, превращаясь то в поверхностных демократов, то в неофитов-охранителей (трагическая история, произошедшая с Александром Зиновьевым), Мераб оставался едва ли ни единственным интеллектуально трезвым человеком.

И не просто трезвым: он был не русским, не грузином, он был и оставался гражданином мира, как и надлежало философу европейской традиции и мирового масштаба. Антифашизм и антисталинизм Мамардашвили сочетались с антинационализмом. Что и стоило ему конфликта со сторонниками Звиада Гамсахурдиа, расстроенного здоровья и кончины в накопителе «Внукова» 25 ноября 1990 года. Как раз тогда, когда Лена и Юра проводили его в аэропорт из своей квартиры. Потом они сопровождали гроб с телом Мераба в Тбилиси.

В одной из своих прустовских лекций Мамардашвили по памяти цитирует Роберта Музиля. А затем, отделявая текст, находит точную цитату. Но ссылку дает не на русский, а на итальянский перевод «Человека без свойств». Это очень по-мамардашвилиевски. Он и с французским марксистом Луи Альтюссером иногда, чтобы потренировать язык, переписывался на итальянском – французский был избыточно понятным, и потому уходило ощущение игры с языком.

Идеология, по Мерабу Мамардашвили, это выхолащивание, обесмысливание языка: «Можно даже сформулировать закон: всякая идеология в своем имманентном развитии доходит до такого пункта, когда ее эффективность, или рациональная эффективность,

не зависит от того, разделяют люди эту идеологию или не разделяют ее. Почему? Да потому, что она разрушает словесное пространство, лишь внутри которого может артикулироваться и кристаллизоваться мысль. Это просто разрушение языка».

Возможно, еще и поэтому ему так важно было много читать, писать, говорить на иностранных языках, в меньшей степени тронутых ядом семантически уже почти пустой идеологии. Он совершал побег в другие языки как в другую реальность. Даже из облика Мамардашвили исчезает все советское, когда он гостит у своего друга Бельфруа во Франции – белые джинсы и майка, иная пластика – подвижная, и веселое, просто веселое, а не ироничное, как в СССР, лицо.

Здание Института философии Академии наук на Волхонке (там, откуда Институт теперь выехал) – намоленное место. Топография Москвы меняется, никто не обращает внимания на связь целых поколений с определенным *locus*'ом, местом. Здесь же все было пропитано философией и были видны невооруженным глазом культурные слои. Это тот редкий случай, когда даже новые поколения представителей профессии признавали и признают за официальной институцией из системы академии наук статус высшего авторитета. Хотя бы благодаря атмосфере, которую теперь приходится воссоздавать из-за переезда философов из их дома в другое здание. Скрипящие половицы внутри, ощущение чеховского «сада» снаружи, особенно на задах Института, где летом благодаря бессистемной вязи листвы случайный прохожий мог вдруг обнаружить себя почти на загородной даче – в старомосковском оазисе.

Здесь в годы знакомства наших героев друг с другом и с Мамардашвили располагалась и редакция «Вопросов философии». Журнала идеологического и в то же время инакомыслящего в своей второй части «двойного сознания», по Кормеру. Журнала, призванного устанавливать марксистско-ленинские стандарты мышления, и в то же время либерализующего сознание. В том числе благодаря своим сотрудникам, особенно той команде, которую собрал главный редактор Иван Фролов. В эту команду после службы

в Фундаментальной библиотеке общественных наук и пришел работать Юрий Сенокосов, став сотрудником заместителя главного редактора Мераба Мамардашвили и подчиняясь ему лично вне иерархии отделов.

Еще со времен студенческого театра-студии МГУ, с самого начала 1960-х Юрий Сенокосов дружил с Вадимом Межуевым, будущим известным философом. И тот рекомендовал его Мерабу, который искал редактора себе в помощь. Их разделяло восемь лет разницы в возрасте, Мераб стоял выше в профессиональной иерархии. Но они стали друзьями.

...Тбилиси, квартал Ваке, рядом Университет. Дом сталинской архитектуры, но одушевленной югом. Фасад очень красивый, обращенная во двор сторона дома, как это обычно бывает, запущена. Дверь с кнопками, над одной из которых надпись «Иза» по-грузински: Иза Константиновна – сестра философа, единственный жилец квартиры. Подъезд старый и обшарпанный, как и многие подъезды в городе. Еще ближе к центру, на еще не отреставрированных улицах, идущих от проспекта Руставели, дома, в отличие от этого квартала, едва ли не разваливаются, но внутри – все нормально. Мамардашвили писал и об этом: «Грязные ворота, обветшалые дома, даже крысы и обваливающиеся стены. Таков вид снаружи, зато внутри благоустроенные квартиры... Эта атмосфера отражает самоуважение грузин». Или это неспособность (невозможность?) обустроить общее с соседом пространство?

Квартира, в которой жил философ, очень скромная, словно бы оставшаяся в 1980-х. И от этого – ощущение подлинности и эффект присутствия философа. Свет здесь распределяется особым образом, наверное, потому, что потолки высокие и окна – очень большие.

Распахнутое во двор окно неотапливаемой комнаты, где он работал. Эффект недавнего присутствия: не то чтобы философ вот так взял только что и вышел. Скорее, просто уехал. Рисунки Эрнста Неизвестного на стене, портрет Канта. Книги, которые как будто рас-

крывались совсем недавно и с ними хозяин комнаты работал – подчеркнутые строки и на полях пометки. Актер, драматург, поэт Антонен Арто, Жорж Пуле, бельгийский литературовед, занимавшийся в том числе любимым Мерабом Марселем Прустом, – прямые отсылки к статьям и лекциям. Французы, итальянцы, Большой итальянский словарь.

На большом старом полукруглом столе Иза раскладывает правильную, проверенную чурчхелу («зимняя еда», говорит она), ткемали, ореховое варенье – все это надо увезти в Москву. В проходной – из кабинета в кабинет – комнате, где спала покойная мама, – старые пластинки, в том числе те, которые привозил Мераб. Проигрывателя нет. «Я читаю пластинки», – смеется Иза. И читает много чего еще, в том числе современную русскую прозу, к которой обращаются очень немногие из тех, кто живет в Москве. Она показывает семейную библиотеку, старые тома Тынянова, Герцена, Островского, многое из того, что осталось и у меня дома от родителей. Мы соглашаемся с тем, что прочитать целиком, а не фрагментами «Былое и думы» практически невозможно из-за дефицита времени. И это замечательно, что Иза Константиновна так занята, что у нее нет времени на Герцена.

Человек русско-грузинской аристократической культуры, выглядящая суховатой и строгой, а на самом деле теплая, остроумная и добрая, она преподает русский двум грузинским девушкам, которые любят русскую литературу. Они общаются на равных. Думаю, именно поэтому они к Изе и ходят. И еще их совершенно точно привлекает дом, в котором живет дух философа. Это у Бродского: «И если призрак в этом доме жил, то он покинул этот дом. Покинул». А этот дом призрак не покинул.

Кстати, о Бродском. Поэт, влюбленный в итальянскую славистку Мариолину Дориа де Дзулиани, ту самую, «увлажняющую сны женатого человека», приревновал ее к Мамардашвили, упомянув его в своей неделикатной манере в знаменитом эссе «Набережная неисцелимых» и назвав почему-то «высокооплачиваемым недоумком армянских кровей». Все три характеристики неточны... А сама Мариолина клялась, что с Мамардашвили ее связывала

только дружба. Хотя бы потому, что в то время Мераб переживал одну из своих главных любовных историй с латышской еврейкой Зельмой Хайт.

Юрий Петрович, Лена и Иза дружат с 1979 года. Познакомились на отдыхе в Прибалтике. Брат Изы мало о чем рассказывал сестре, как не рассказывал и о своих московских друзьях. Я видел это трогательное зрелище: Лена и Иза, держа друг друга под ручку, спускаются по горбатым улочкам от холма Мтацминда вниз, к проспекту Руставели.

Живя в Тбилиси, Мамардашвили, как замечали Лена и Юрий Петрович, «огрузинивался». Но спустя несколько дней после возвращения в Москву постепенно превращался в прежнего, московского Мераба, гражданина мира грузинского происхождения.

Грузином он был в отношениях с женщинами. Цветов обычно не дарил, не провожал, судя по всему, легко расставался с теми, от кого устал. Удивлялся конфликтной стороне взаимоотношений мужчины и женщины. Однажды появился на пороге дома Немировской и Сенюкова, когда его не пустила в квартиру одна из постоянных привязанностей – сценарист и режиссер Наталья Рязанцева, с ней у него начиная с 1974 года был долгий роман («Мы как будто взяли у жизни отпуск и устроили праздник», – напишет она потом в мемуарах о Мерабе). «Она меня прогнала», – констатировал он в недоумении. Мераб был уязвлен внезапным отъездом за границу самой большой своей любви – Зельмы. Уязвлен в той же степени, что и «Зияющими высотами» Александра Зиновьева, где тот высмеял не только советскую власть, но и весь свой дружеский и профессиональный круг.

Он не то чтобы бежал постоянства в связях с женщинами. Многие из них, по словам Лены и Юры, были неглупыми и достойными, да и сам Мамардашвили, что называется, хорошо к ним относился. Почему не дружить с такими женщинами, как искусствовед Паола Волкова, организовавшая ему курсы лекций во ВГИКе? Или Анни Эпельбуэн, «выросшая» в серьезного французского исследователя-литературоведа и переводчика, привозившая Мерабу джинсы, настоящие французские сигареты «Житан» и письма Альтюссера?

Или литературный и театральный критик Сильвана Давидович, которой он, впервые после долгого перерыва выпущенный за границу, позвонил из Парижа в Рим со словами: «Неужели тебе не хотелось бы поужинать со мной в Париже?». Скорее, он избегал собственных отношений. Хотел, чтобы его женщины дружили друг с другом. В «Психологической топологии пути» есть место, где философ говорит о том, что «Пруст с пером в руке совершил весь безумный бег своего чувства и справился с ним; мы увидим в дальнейшем преодоление Прустом той основной вещи в любви, которая вырывает любящего из человеческой связи, а именно мании собственника». И далее: «Он понял, что мы страшны в любви, если мы хотим владеть».

Но с Зельмой он попал именно в эту ловушку. Любовь на расстоянии, поездки к возлюбленной, женщине гораздо старше его, в Ригу, начиная с 1959 года. А ее отъезд в Израиль – без предупреждения и звонка, с сообщением об этом состоявшемся факте через Эрнста Неизвестного – сильно ранил его именно как собственника в любви.

Лекции о Прусте посвящены Зельме Хайт и Пьеру Бельфруа, который и подтолкнул философа к тому, чтобы читать прустовскую прозу на языке оригинала. И, наверное, права Лена Немировская, когда утверждает, что «переживание пришло от Зельмы, от ее ухода. Потом переживание разбудило вдохновение, а оно побудило Мераба прочесть себя через Пруста». И не расставаться с прустовскими томиками в «галлимаровском» издании...

Лицо и голова Мамардашвили были, на первый взгляд, грубой и простой лепки. Но у скульптора Елены Мунц, жены Владимира Кормера, голова Мераба Константиновича не получалась...

...Мы обсуждаем с Изой фильм режиссера Ланы Гогоберидзе, где она рассказывает о своем поколении, о том, как забрали мать, дядю... Лицо Изы становится жестким: она говорит о том, что отец Ланы – Леван Гогоберидзе, занимавший многочисленные номенклатурные посты в советской Грузии, возможно, и сам причастен к преступлениям сталинизма. И добавляет, что не знает и о роли своего отца, который был профессиональным военным, комиссаром стрелковой дивизии.

Точно так же Мераб Мамардашвили становился резким и бескомпромиссным, закипал, когда речь шла о Сталине или нацистском режиме. Столь же бескомпромиссным он был – по причине абсолютного нравственного слуха – в отношении ультранационалистической политики Звиада Гамсахурдиа. Его слова об истине, которая выше нации, и о том, что если народ пойдет за Гамсахурдиа, он, Мамардашвили, пойдет против народа, стали классикой. Общение со своей нацией обернулось настоящей драмой. Философ Эрих Соловьев сравнивал Мамардашвили с Петром Чаадаевым, который сказал: «Прекрасная вещь любовь к Отечеству, но есть нечто еще более прекрасное – это любовь к истине».

Молчаливая, внимательная любовь сестры к брату, ничего не требующая взамен. С сестрой Мераб обсуждал возможный отъезд из СССР. Их отношения за эти годы стали настолько близкими – Иза растила в 1970-е его дочь, а в 1980-е заботилась о том, чтобы он мог спокойно, в комфортном одиночестве, заниматься философией, – что естественным оказался его вопрос: «А ты?». В смысле – уедешь ли ты за братом из Тбилиси, где провела всю жизнь, работая школьным учителем.

Притом, что Грузия оказалась для Мераба последней точкой, где оставались дом и возможность работы, жизнь там не была благостной. Вот фрагмент письма Юрия Петровича, датированного январем 1982 года, эмигрировавшему искусствоведу Борису Гройсу: «В тот же день (после проводов Гройса в эмиграцию. – А.К.) вечером я улетел в Тбилиси. Теплая погода, улыбающиеся лица, Мераб, застольные встречи – все это на протяжении почти 12 дней постепенно освобождало меня от предшествующего, от усталости и волнений, но я продолжал вспоминать вас и грустить».

Сейчас, спустя уже более месяца, острота прощания с вами и связанной с этим печали остыла, надвинулись и произошли новые события: инфаркт у Мераба (в настоящее время, слава Богу, он уже дома – постельный режим)...».

Смерть стала персонажем жизни. Однажды в 1981 году философ опоздал на лекцию и сказал, что во сне к нему приходил Декарт,

а когда проснулся, горлом пошла кровь. Впрочем, из «Картезианских размышлений» Мераба Мамардашвили известно, что сам Декарт видел пророческие сны.

А однажды и Юрию Сенокосову приснился пророческий сон. О нем он писал одному из своих корреспондентов: «...сон, который я видел в августе 1990 года, то есть примерно за месяц до гибели 9 сентября о. Александра Меня и за три месяца с небольшим до смерти Мераба 25 ноября.

Представь себе котлован – глубокий и ослепительно ярко освещенный, как в полдень при ярком солнце, и меня в этом котловане – я это ясно вижу, хотя на глазах у меня очки и я понимаю, что ослеп, и ведет меня по котловану на поводке собака, которая явно тоже слепая, потому что у нее на глазах тоже очки.

Куда ведет, не знаю – вижу лишь, что все это происходит при ярком свете и, видимо, оттого что не понимаю, я начинаю громко стонать или даже кричать, как мне сказала напугавшаяся Лена, разбудившая меня.

Когда убили о. Александра, а потом умер Мераб, я стал думать, что это был не просто сон, а предчувствие или какое-то вдруг возникшее во мне чувство, что оба моих поводыря (назову их так) скоро покинут меня.

Что это? Знание-предчувствие ослепшего тела или ясно видевшего это ума (сознания)? А накануне гибели о. Александра – могу даже сказать точно, за 12 часов до его убийства, так как это происходило вечером часов в шесть 8 сентября, в окно комнаты, где я лежал в это время в полудреме (весь день я чувствовал себя отвратительно, причем, добавлю, утром после ванны надел красные джинсы и черную рубашку, которую купил за 15 лет до этого и ни разу не надевал), влетел голубь и сел под стол. Я решил, что что-то случилось с мамой (она болела), взял голубя в руки, посмотрел в его глаза, подошел к окну и выпустил.

Конечно, то, что за день до убийства утром я надел красно-черную одежду (знак предстоящего траурного дня), можно считать культурной условностью, но опять же – на этот раз мое тело совершало какие-то вполне, казалось бы, осмысленные движения, а ум спал.

В пространстве или сфере сознания все уже свершилось, а узнал я об этом позже».

«Два года я не мог прийти в себя после убийства Алика и смерти Мераба», – говорит Ю. П.

Для Юрия Сенокосова Мераб Мамардашвили, чьи лекции он записывал на диктофон, начиная с ВГИКовского цикла 1978–1979 годов – это... впечатление. В том смысле, в каком говорил об этом сам Мераб: «Вспомним отличие впечатления от восприятия: впечатление – это то, к чему Пруст прилагает эпитет “вечное” – вечное впечатление. Впечатление – это удар мира по нам встречей с крупным событием или маленьким человеком, с маленьким кусочком боярышника, или с совсем маленьким пирожным – не важно. Я предупредил, что элементы даже самых больших событий – те же самые, что и элементы наших темных и скромных жизней, с которыми мы разбираемся в наших личных, никому не заметных и ненужных вещах».

Эпоха впечатлений – вся жизнь человека. Настоящее интеллектуальное приключение, полное впечатлений, которым Сенокосов радуется (и я, пожалуй, никогда не видел столь альтруистически радующегося чужому интеллектуальному дарованию человека, как Ю. П.), началось еще во второй половине 1950-х, в хрущевскую оттепель, в студенческие времена, когда студент-историк, не удовлетворенный историей-фактографией, начал слушать лекции на философском факультете МГУ, а затем включился – на долгие годы вперед – в публикаторскую работу, стараясь разделить свои впечатления и свое радостное удивление с другими.

Из этого родилось желание записывать то, что говорил Мераб. Их дружеское общение превращалось иной раз в беседу под запись, вплоть до того, что диктофон они брали на пляж в Лидзаве. И на ветру, увековеченном записью, говорили о том, что обоим интересовало. Но сначала было впечатление. Мамардашвили удивлял. «Мераб, даже выступая на редколлегиях “Вопросов философии”, формулировал задание так, как будто это было его проблемное выступление», – вспоминает Ю. П. А потом, спустя несколько лет, чтобы впечатления не исчезали, начал записывать его лекции. Сначала на диктофон,

привезенный из Праги. Затем на какой-то супераппарат, подаренный итальянским журналистом Деметрио Войтичем, который тоже от частого употребления через несколько лет сломался.

Начало истории с записями было положено лекциями Мамардашвили во ВГИКе, куда к 9 утра приезжали и Немировская с Сенокосовым. В аудитории сидело обычно человек 20-30, но среди них, например, Сергей Шумаков, будущий редактор канала «Культура», или режиссер Александр Сокуров.

Пленок было мало. Поэтому часто приходилось стирать записанное, соответственно, расшифровывать лекцию за одну ночь, чтобы записать новую. Потом, во времена перестройки, когда с пленками стало легче, записи уже не стирались.

Понятно, что писал не только Юрий Петрович. Записи лекций постепенно тиражировались, и баритон Мамардашвили могла услышать не то чтобы вся страна, но сам он становился известен отнюдь не только в Москве, но и в Ленинграде, Риге, а также студентам Вильнюсского и Тбилисского университетов. Были, наверное, и объективно менее доступные записи. Например, лекция в Ростове-на-Дону, куда Мераба пригласил ректор Ростовского университета Юрий Жданов, сын Андрея Жданова и бывший муж Светланы Аллилуевой.

Иногда Мамардашвили сам записывал наговоренное, иной раз Юрий Петрович просто писал разговор, по сути – брал интервью. И снова расшифровывал. «Я поднаторел тогда, – вспоминает он, – хотя, конечно, расшифровка философских лекций – дело не простое: где, например, в сложном высказывании поставить точку? В машинку закладывал обычно два экземпляра из-за отсутствия бумаги. Десять лет это длилось...».

С 2002 года, после конфликта с дочерью Мамардашвили Аленой, Сенокосов, отдав ей все записи, больше ничего не публикует. В новых изданиях он даже не упоминается.

Первая книга Мамардашвили, изданная Сенокосовым – «Как я понимаю философию» – с фигурами художника Франциско Инфранте на черной обложке вышла в свет в 1990 году, при жизни философа. Мамардашвили она очень нравилась, он с удовольствием дарил ее знакомым и коллегам.

«Далеко не все, что говорил Мераб, я тогда до конца понимал. Мне казалось, что я понимаю. Но смысл стал открываться позже», – признается Юрий Петрович. Понимание пришло после впечатления...

Кстати, художник Франциско Инфанте, сын испанского политэмигранта и уроженец села Васильевка Саратовской области, придумал и знак Московской школы политических исследований, где зашифрованы два ключевых понятия – «Лена» и «Школа».

Одна из главных категорий философии Мамардашвили – усилие. «Жизнь есть усилие во времени». Для философа человек – «это, прежде всего, постоянное усилие стать человеком»; «человек не существует – он становится». Культура – «это усилие и одновременно умение практиковать сложность и разнообразие жизни». То же – история. И все это налагает на человека ответственность – не стать варваром. Чтобы не стать варваром, опять-таки надо прилагать усилие: «Человек только тогда фигурирует как элемент порядка, когда он сам находится в состоянии максимального напряжения всех своих сил». Противоположность цивилизационного усилия, по Мамардашвили, не только варварство, но и нигилизм.

Чтобы что-то понять, сформировать, извлечь уроки – нужно приложить усилие. Сознание меняется только там, «где была проделана работа». Ничего просто так, само собой, не возникает. Например, «случился» в европейской истории опыт представительной демократии. Что могло закончиться ничем. Но была *проделана работа*. В результате чего развивались и закрепились институты демократии. В России же «не случилось так, чтобы возникла артикулированная форма выражения, обсуждения и кристаллизации общественного гражданского мнения». И потенциально гражданские состояния, «которые испытывает каждый русский человек отдельно», не превратились ни в общественное мнение, ни в институты.

Объяснением важности личного усилия Мераб Мамардашвили заканчивал и свои Вильнюсские лекции 1981 года по социальной философии. Он делал акцент на том, что усилие – «личное»: «Потому что вместо тебя никто понять не может, понять должен ты». Потому

и философия – «это индивидуальная форма бытийно-личностного эксперимента».

Человек, конечно, как писал поэт Арсений Тарковский, «посредине мира». Но без его «индивидуации», без личного усилия не получится ничего, и варварство всякий раз будет побеждать цивилизацию.

В квартире Сенокосовых небольшая комната из коридора налево – кабинет Юрия Петровича. Мераб Мамардашвили обычно ночевал в другой комнате. Но в последний свой приезд по каким-то «техническим» причинам провел ночь на диванчике в кабинете. «Вот здесь он спал последний раз», – с отчаянием в голосе, до сих пор – с отчаянием, говорит Сенокосов, указывая на кушетку. И тут же с улыбкой вспоминает импровизационные афоризмы Мераба: «Цветаева – это комод с чувствами»; «Василий Розанов – Монтень с авоськой»; «Железная задница Аристотеля». Мы стоим в коридоре, как всегда задержавшись с прощальными разговорами – самые важные воспоминания неожиданно настигают собеседников, когда все уже вроде бы обговорено и пора отправляться на выход. Лена вдруг начинает рассказывать о том, что после смерти Мераба она его не читала – было больно, и слишком близкой во времени оставалась его эпоха: «И потом для меня его лекции – это не философия, это жизнь». Добавляет, что вот теперь, когда прошла целая отдельная жизнь с момента смерти Мамардашвили, когда очень много, если не все, поменялось, а еще очень многое, по сути, вернулось – вдруг очень понадобился Мераб.

ШКОЛА КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ: ИСТОКИ И СМЫСЛ

Московская школа политических исследований выросла из людей и книг. Из расширявшегося круга общения Лены и Юры. Они притягивали к себе все мыслящее, рефлекслирующее, пишущее, сомневающееся, производящее мысль и готовое делиться ею с другими. Причем притягивали вдвоем, как если бы они были не просто людьми или семьей, а именно что институтом. Этот институт складывался десятилетиями, втягивая в свою орбиту все новые поколения интеллектуалов, просветителей, учеников.

Собственно, Школа не была бы школой, если бы она оказалась зажатой в подполье, в диссидентском или полудиссидентском состоянии. Она должна была быть принципиально открытой и – сразу! – интернационализированной. Потому что просвещение едва ли может быть узконациональным. Просвещению нужны переводчики – и Сенокосов и Немировская подключили к Школе блестящих синхронистов и переводчиков художественной и нон-фикшн литературы.

Просвещение предполагает множество языков для диалога и источников мысли. И его конечным продуктом должен стать гражданин мира. Только в этом случае он в состоянии стать гражданином своей страны – не обывателем, не пушечным или электоральным мясом, а субъектом истории и источником власти.

Это именно то, что оказалось ненужным в России начиная с 2012 года. И то, что было объявлено враждебным российской власти после 2014 года. Гражданское просвещение стало сначала нежелательным, а потом было оценено как опасное.

Мне всегда казалось странным название Школы, данное ей при рождении – «политических исследований». То самое название, которое потом послужило одним из мотивов для придинок и объявления структуры иностранным агентом.

На вопрос о происхождении названия Ю. П. ответил вопросом же: «Что ты предпочитаешь – жить и работать или воевать и погибать?» Риторически заметив: «Если жить, тогда стоит думать о таких психологических состояниях человека, как месть, обида, страх, вина, зависть. Ибо любая авторитарная власть во имя своей безопасности и самосохранения вполне успешно использует эти состояния для подавления свободы, а власть демократическая больше полагается на то, что публика сама себя просветит, если предоставить ей свободу». И во время перестройки, добавил он, в эти слова Канта о демократической власти верили, как и в политические и иные исследования. Поэтому и появилось название «Московская школа политических исследований», предложенное сыном философа Георгия Щедровицкого, Петром Щедровицким, который был одним из тех, кто стоял у ее истоков. Но жизнь показала, что дело не столько в исследованиях, сколько в просвещенных гражданах.

Потом Сенокосов взял паузу и ответил более подробно в буквальном смысле слова в письме.

Письмо автору.

О гражданине и гражданском просвещении

Вопрос: *Интеллектуалу разве место на митингах?*

Умберто Эко: *Нет, это было не место интеллектуала. Это было место гражданина. Певец, футболист или романист известнее, чем остальные граждане. И он может и должен использовать свой статус для достижения общественно важных целей. Так что я там был не в роли интеллектуала. Я использовал свою известность в качестве интеллектуала, чтобы говорить как гражданин.*

Дорогой Андрей, посылаю ответ на твой вопрос. Частично я уже ответил, сказав, что создавая школу, мы не особенно задумывались над тем, как назвать ее, полагая, что исследования, причем не только политические и экономические, но главное – встречи молодых людей из разных российских регионов с отечественными и зарубежными экспертами помогут нам в реализации школьного девиза «Гражданскому обществу – гражданское просвещение!». Поскольку были уверены, что гражданское общество, его основа в виде правозащитных организаций, в России существует. И мы должны приглашать на наши семинары в том числе гражданских активистов. Но оказалось, что не все так просто, особенно после внесения школы в список «иностранных агентов».

Итак, почему так важно гражданское просвещение в условиях глобализации? Что такое гражданин?

Население на планете Земля, как известно, стремительно растет: 1900 г. – 1,6 млрд человек, сегодня более 7 млрд. И соответственно растет воздействие человека на природную среду и людей друг на друга. Об этом свидетельствуют глобальные проблемы: из-

менение климата; истощение природных ресурсов; разрыв в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и его последствия для развитых стран – растущие потоки беженцев, политический популизм, агрессия, угроза третьей мировой войны. Сложность и глубина проблем, вызванных глобализацией, очевидна, учитывая, что для их решения требуется сотрудничество государств не только на региональном, но и на мировом уровне. И, безусловно, – нужна вера в принципы верховенства права, демократического управления, открытого рынка.

Об этих принципах, считаем мы в Школе, не стоит забывать хотя бы потому, что их родина – Европа, которая и наша общая родина, где были сформулированы в XVIII веке идеи, положившие начало процессу глобализации. Я имею в виду Адама Смита и его знаменитую фразу из «Богатства народов» о «невидимой руке рынка», а также Иммануила Канта, заявившего в своем трактате «Что такое просвещение?»: «публика сама себя просветит, если только предоставить ей свободу».

Сегодня можно уверенно сказать, что эти идеи подобно маяку освещали путь экономического, политического и гражданского развития европейского общества, преодолевавшего свое духовное несовершеннолетие, причиной которого, по словам Канта, был не недостаток ума, а недостаток решимости и мужества самостоятельно пользоваться им. Чтобы понять не то, что делает из человека природа, а как человек делает себя сам – *self-made man*. Таким образом цель просвещения не только в распространении знания, а в развитии человеческого разума.

Почему же тогда этот просвещенный разум оказался столь недальновидным, и современный мир превратился в заложника угрожающих глобальных проблем?

Девиз Просвещения «*Sapere aude!*» – *имей мужество пользоваться собственным умом* – на мой взгляд, явно заключает в себе парадокс, на котором стоит остановиться и задуматься. Потому что, если задуматься, то окажется, что когда мы думаем, мы думаем не собственным умом, ибо это некая невидимая собственность, которой мы, тем не менее, обладаем и пользуемся. И значит, как выразил-

ся Мераб Мамардашвили, будучи наследником духа Просвещения, эта «собственность» (ум) дана человеку в дар, и он есть у всех. Но не все это понимают, «зарывая талант в землю». А если человек не зарывает его, о нем можно сказать, что он обладает безусловным талантом личности, которая поэтому и выделяется в качестве особого феномена в этике и культуре, поскольку человек ищет некую ценность за пределами очевидного. Справедливость, истину, честь, благо, свободу, которые не передаются непосредственно от одного человека к другому, а требуют понимания – личного сознательного усилия и мужества пользоваться собственным умом. И когда это происходит, рождаются парадоксы, афоризмы, метафоры, фразы, подобные приведенным выше.

Ведь что означает фраза «невидимая рука рынка»? На первый взгляд, казалось бы, понятно. Она указывает на некий процесс, тающий в себе загадку и одновременно ответ, а именно: когда люди преследуют свои *частные интересы*, их активность детерминируется некой силой, работающей на пользу и благо общества.

То есть загадка остается, если мы вспомним, что существуют и другие, не только частные, но и *коллективные* способы достижения общественного блага – с помощью реформ, революций, перестроек. И встает вопрос: какой путь в таком случае эффективнее, индивидуальный или коллективный? Демократический или авторитарный? Ясно, что по-своему они успешны, казалось бы, оба, но основной эффективности первого являются, как известно, научные открытия, технические изобретения и рыночная экономика, а второго – государственная власть и заимствование технологий. И эта особенность второго пути, безусловно, – сдерживающий фактор для демократического развития, в силу разных причин. Назову лишь одну из них – главную – отказ от свободы, в результате которого происходит подмена свободы так называемым выбором. Что я имею в виду?

Разумеется, демократия предполагает пространство свободы, и его никто не имеет права ни национализировать, ни приватизировать целиком. Ни монарх, ни народ, ни партия, ни бизнес, ни президент. В условиях демократии есть место всем. А раз так, то должен, конечно же, существовать и выбор, ведь мы часто уверены, что человек

свободен только тогда, когда у него есть выбор. Отсюда напрашивающийся вывод: чем больше возможностей выбора, тем больше в стране свободы. Но так ли это на самом деле, если не забывать о непредсказуемости того, что человек может выбрать и посвятить этому свою жизнь (например, террорист)? Не говоря уже о «радикальном выборе» народа, или спецслужб, ведущего к государственному терроризму.

Следовательно, эмпирическое определение свободы содержит в себе явное противоречие. Поэтому обратимся к другому, мамардашвилиевскому ее определению, предполагающему не возможность выбора, а дисциплину ума: «Свобода – это феномен, который имеет место там, где нет никакого выбора. А есть нечто, что в себе самом содержит необходимость, то есть является необходимостью самой себя».

Фактически именно к такому определению свободы, открывающему путь к компромиссам и сотрудничеству, все более склонялись европейские мыслители в эпоху Просвещения, размышляя о гражданском обществе и правах человека. Причем все это было реакцией на существовавшую абсолютистскую форму правления, при которой верховная власть принадлежала одному лицу, распоряжавшемуся свободой других. А завершилось, как известно, принятием в августе 1789 года знаменитой Декларации прав человека и гражданина – политического манифеста Французской революции, провозгласившего неотъемлемыми правами человека свободу личности, слова, совести, равенства граждан перед законом, неприкосновенность частной собственности.

Эта Декларация подвела своего рода итог предшествующему развитию европейского общества, когда шла борьба за ограничение абсолютной власти. Об этом свидетельствуют, в частности, английский Билль о правах 1689 года, декларировавший «права и свободы подданного», и другие документы – правового и политического характера (жалованные грамоты, уставы городов и др.).

В основе же философии свободы, воодушевлявшей европейских просветителей XVIII века, лежала идея прав человека уже не как «подданного», а как личности гражданина.

О правах, писали они, можно и нужно говорить, поскольку люди мыслятся во взаимном отношении друг к другу. Право – ничто вне таких отношений. И задавали вопрос: как могут сосуществовать свободные люди – ведь в этом состоит смысл всякого права? И отвечали: совместное существование людей возможно при условии, если каждый во имя достижения компромисса ограничивает свою свободу настолько, чтобы сохранить свободу другого. Свобода одного опирается в свободу другого и имеет эту последнюю условием собственной свободы. Свободу не выбирают, так как сам вопрос «есть ли свобода?» уже свидетельствует о ее существовании.

Таким образом, свобода и право – два основных понятия, с которыми связаны история европейского либерализма и появление гражданского общества.

Имеет это отношение к «невидимой руке рынка» и к «публике, которая сама себя просветит, если предоставить ей свободу»? Безусловно, имеет, причем самое непосредственное.

Приведу вначале пример, относящийся к рынку.

В те же самые годы, когда Адам Смит писал свое «Исследование о природе и причинах богатства народов», в Англии Джеймс Уатт совершенствовал паровой двигатель, сыгравший революционную роль в переходе к машинному производству и промышленной революции. Естественно, благодаря рынку, а точнее, сочетанию частной инициативы и промышленного просвещения. Но об этом несколько позже, а пока замечу, что на десять лет раньше Уатта Иван Ползунов в России тоже разработал проект парового двигателя, а затем построил паросиловую установку для заводских нужд, но за неделю до ее пробного пуска умер. Однако в это же время в России жил еще один замечательный механик и изобретатель Иван Кулибин, который хотя и считал возможным использование паровых машин на речных судах, но их конструированием непосредственно не занимался, предпочитая занятие так называемыми водоходными машинами с деревянными колесами. И при этом был готов бесплатно раздавать соответствующие чертежи и консультировать «желающих поль-

зоваться его изобретением». Но желающих почему-то не было, в отличие от Англии, где во время многолетней работы над совершенствованием паровой машины у Джеймса Уатта сменилось три спонсора-партнера. И к 1780 году он вместе с третьим партнером М. Болтоном (создав совместную компанию) выпустил 40 паровых машин. Причем все было организовано без участия английской государственной казны, а благодаря частной инициативе – изобретателя и его партнера, а также покупателей-предпринимателей.

Именно отсутствие этих трех факторов в России, по словам современного историка, «привело к тому, что проекты Кулибина... остались на бумаге». А ответ на вопрос, почему они отсутствовали, дал еще в конце XIX века Павел Милюков в своих «Очерках по истории русской культуры», где писал: «Наша мануфактура и фабрика не развилась органически, из домашнего производства, под влиянием роста внутренних потребностей населения: она создана была поздно правительством, руководившимся... соображениями о необходимости развития национальной промышленности. ...В стране без капиталов, без рабочих, без предпринимателей и без покупателей эта форма могла держаться только искусственными средствами». А точнее, государственными, которым не предшествовала «невидимая рука рынка» (без участия государства).

Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, который начался в Европе в последней трети XVIII века и получил название промышленной революции, разумеется, был бы невозможен без научной революции XVII века и без промышленного просвещения, столь же важного для успеха промышленной революции, как и принцип свободы экономического развития (*laissez-faire*). А промышленное просвещение, в свою очередь, не было бы успешным без социальной инфраструктуры, связанной с образованием, подготовкой кадров и инвестициями, обеспечивающими в условиях рыночной экономики реализацию технических инноваций. С этой точки зрения, развитие незаимствованных, отечественных технических инноваций в России по сравнению с Англией началось намного позже и было прервано Первой мировой войной, которая привела, как известно, к катастрофе в стране.

И в этой связи второй пример, относящийся уже к фразе Канта о «публике, которая сама себя просветит». Он напрашивается сам собой, поскольку известно, что целью социалистической революции в России было освобождение рабочих и крестьян от эксплуатации, а сопровождался этот процесс пропагандой насилия и массовым террором. То есть с использованием отечественных традиционных средств, а не только промышленных технологий и инноваций. Но цель была достигнута: социализм в стране был построен, и все стали «гражданами». Как об этом мечтал в 1855 году поэт и предприниматель Николай Некрасов:

Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
.....
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

А в 1929 году другой наш поэт провозгласил: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, – я гражданин Советского Союза» (Владимир Маяковский).

Возрождение, реформация, просвещение, революция – все эти понятия, как мы помним еще со школы, отражают процессы перехода человеческого общества от одной исторической эпохи к другой. Но редко задумываемся, что в это время люди заняты поиском общественного эквивалента своему неясному и неустойчивому состоянию души. В первой половине XX века после распада Австро-Венгерской империи Роберт Музиль написал об этом известный роман «Человек без свойств». А во второй половине XX-го на эту же тему появились «Воспоминания» жены О. Мандельштама Надежды Мандельштам, где говорится, что в 1930-е годы в СССР «для огромного числа неофитов никаких ценностей, истин и законов больше не существовало, кроме тех, которые нужны были сейчас и назы-

вались для удобства классовыми... Из обихода исчезло множество слов – честь, совесть и тому подобное. Развенчать эти понятия было не так уж трудно, когда открыт рецепт развенчивания». Но это отдельная тема.

Напомню лишь: в России после царствования Петра I переход общества в пространство Европы занял два столетия и завершился в результате захвата власти большевиками эпохой тоталитарного рабства. И вернусь к уже поставленному вопросу: какое отношение в таком случае помимо рынка имеют понятия свободы и права к становлению гражданского общества?

Для европейца ответ на этот вопрос, я думаю, очевиден: успешное развитие рыночной экономики и появление гражданского общества были бы невозможны без того, что принято называть разделением властей.

Прежде чем этот термин появился во втором трактате Джона Локка «О правлении», ему предшествовала Великая хартия вольностей (1215 год), с помощью которой английские бароны заставили своего короля признать, что хотя *он первый, но среди равных ему*. То есть разделение властей было для Локка не целью, а уже свершившимся фактом. Он лишь зафиксировал в конце XVII века существовавшую в стране практику применения главных элементов правового государства и демократии. А после появления в середине XVIII века «Духа законов» Монтескье не только термин, но и сам принцип разделения властей получил признание во многих государствах.

И то же самое относится к понятию просвещения. Кантовский трактат также подвел своего рода итог интеллектуальному движению в Европе XVII–XVIII столетий, участники которого стремились понять, как должна быть организована и выстроена власть, чтобы гарантировать сохранение свободы.

«Большая степень гражданской свободы, – писал философ, – имеет преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает народному духу возможности развернуть все свои способности. И так как природа открыла под этой твердой оболочкой *зародыш...*, а именно склонность и призвание к

свободе мысли, то этот зародыш сам воздействует на образ чувствования народа (благодаря чему народ становится постепенно более способным к *свободе действий*) и, наконец, даже на принципы правительств, считающего для самого себя полезным обращаться с человеком, который есть *нечто большее, чем машина*, сообразно его достоинству».

Этот завершающий абзац кантовского трактата наряду с трактатом Локка «О правлении» и фразой Смита о «невидимой руке» рынка не оставляют сомнения в том, что, вступив во второй половине XVIII века на путь промышленного и социального развития, Европа начинала двигаться к раскрепощению общественных сил и талантов. Создавая различного рода ассоциации, партии и реформируя политические институты, просвещенные европейцы стремились, таким образом, по-новому организовать пространство общественной жизни.

Однако практически одновременно с этим (по мере растущего в результате промышленной революции обнищания сельского и городского населения) в европейской культуре стало набирать силу и развиваться противоположное мировоззрению просветителей марксистское учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата.

Все это я говорю к тому, чтобы показать, возвращаясь к последствиям глобализации, насколько далеко в свое время разошлись Россия и Запад в понимании не только демократии, но и непосредственно связанной с ней предшествующей интеллектуальной традиции, а именно – веры в разум, с одной оговоркой. И Локк, и Смит, и Кант, и другие просветители верили в свободу и разум, но разум, в частности, Локка отличался при этом от разума Канта. Локковский разум исходит из опыта и не содержит в себе ничего кроме опыта, а кантовский разум – из критики опыта. И это важное отличие, если мы вспомним выражение Канта «Физика не опытная наука, а наука для опыта». Ибо можно было сколько угодно, подобно алхимикам, заниматься научными экспериментами, которые не приближали к пониманию того, что такое наука на самом деле, пока Ньютоном не были открыты законы, ставшие образцом точного математического анализа для проверки любого физического эксперимента. И то же

самое можно сказать о Локке, для которого естественное состояние общества уже не было «войной всех против всех», так как он полагал, что оно регулируется нормами права, которые, определяя поведение человека, диктуются разумом. Но Локк в своей защите права апеллировал к частному интересу, тогда как Кант не верил в «алхимическое» право только частного интереса, вне «культуры моральности в нас», и говорил о моральном (категорическом) императиве как цели разумно оправданного поступка. То есть мораль в этом случае выступает своего рода математикой для измерения отношений между людьми. И поэтому можно сказать, что лишь моральный, нравственный закон, не зависящий от посторонних причин, делает человека по-настоящему свободным.

На фоне сегодняшней действительности уверенность Канта, что народ просветит себя сам, если предоставить ему свободу, кажется наивной, как и вера Адама Смита в «невидимую руку» рынка. Однако не стоит забывать, что убеждения этих мыслителей были основаны не на слепой вере в свободу, а на вполне осмысленных постулатах об особенностях природы человека, которые определяют не только его экономическое поведение, но и сферу жизнедеятельности в целом. А именно – на присущей человеку склонности к обмену услугами и плодами своего труда и его стремлению не только к обогащению, но и справедливости. Послушаем самого Смита.

«Таким образом, переворот величайшей важности для *общественного блага* был совершен двумя различными классами людей, которые не имели ни малейшего намерения служить обществу. Удовлетворение самого простодушного тщеславия – таков был единственный мотив крупных землевладельцев. Торговцы же и ремесленники... действовали исключительно в своих собственных интересах и придерживались присущего им торгашеского правила защищать копейку при всяком удобном случае. Ни те и ни другие не осознавали и не предвидели той великой революции, которую совершало безумие одних и сноровистость других».

Между тем, продолжает автор «Богатства народов», поскольку такой порядок развития противоречил разумному ходу вещей, он неизбежно отличался неустойчивостью. Почему противоречил?

Потому что у человека есть возможность свободно преследовать свои интересы (и в какой-то момент он это сознает) лишь в том случае, если он не нарушает законов справедливости – одной из главных человеческих добродетелей. И тогда его деятельность совпадает с действием сил «невидимой руки».

А что такое добродетель? Согласно Платону, как утверждает Сократ в «Горгии» – это особенный строй души, который позволяет сохранять достоинство в отношении себя и других. А согласно Канту – моральная твердость в следовании своему долгу.

Так кто же такой гражданин? И о каких общественно важных целях, выражаясь словами Умберто Эко, может идти речь в условиях глобализации? Должен ли гражданин обладать в этих условиях еще и добродетелями помимо профессиональных качеств, способностей, талантов – научных, художественных, организационных? Я имею в виду людей самых разных профессий. Тем более, что среди них всегда есть люди широко известные и влиятельные в обществе. А есть малоизвестные, непубличные, но влиятельные в своей профессиональной среде. И вопрос о добродетелях, казалось бы, исчезает.

Посмотрим на такую, например, добродетель, как ответственность, поскольку, употребляя такие выражения, как гражданская ответственность и ответственность профессионала (ученого, писателя, художника и т.д.), мы обычно не видим между ними разницы. А между тем она есть. Потому что гражданская ответственность как добродетель в отличие от профессиональных способностей и талантов – выдающихся, средних, скромных – неделима. И, следовательно, подразумевает не только профессиональный талант и интерес, но и вовлеченность человека в то, что происходит в окружающей жизни, безразличие к ней. А также чувство собственного достоинства, интеллектуальную честность, упрямство в отстаивании того, во что он верит и ценит, совесть. Именно граждане с такими качествами придерживаются позиции моральной твердости, выражаемой словами «На том стою и не могу иначе», «Не могу молчать», «Жить не по лжи». Просто потому, что по-другому не могут, используя свой профессиональный статус и место гражданина для достижения в том числе и такой общественно важной цели, как свобода.

ШКОЛА КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ: ИСТОКИ И СМЫСЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Школа выросла из книг. В том числе, написанных теми же людьми, которые стали живыми идейными истоками просвещения по Сенокосову и Немировской. Конечно, из того массива книг, которыми всю жизнь занимался, которые пропагандировал и распространял Ю. П. – человек-издательство. Разумеется, из лекций Мамардашвили, романов и статей Кормера, проповедей и сочинений о. Александра. Вообще из всего того, что выработала интеллектуальная среда 1950-х–1980-х.

Но и это еще не все. Было несколько человек: Эрнест Геллнер, Исайя Берлин, Ральф Дарендорф, Джордж Сорос. Из их интеллектуальной, организационной, финансовой активности выросло просвещение нового типа, соответствовавшее эпохе. Но и у них была корневая система. От Дарендорфа ветвь ведет к Карлу Попперу, который во время Второй мировой войны, на краю земли, в Новой Зеландии писал свое «Открытое общество и его враги». И «Открытое общество» стало тем словосочетанием, которым можно маркировать Школу.

Частый гость Лены и Юры – Эрнест Геллнер. Родился в Париже в семье германоязычных евреев из Чехословакии, учился в Англии и стал знаменитым английским гуманитарием, в конце жизни вернувшись в Прагу, где прошла его юность, в качестве руководителя Центра по исследованию национализма. Как и Ральф Дарендорф – был тесно связан с Лондонской школой экономики. Дарендорф ведь тоже не англичанин – немец. И как Геллнер успел повоевать с фашистами, так и пятнадцатилетний Дарендорф, будущий автор 28 книг, побывал в нацистском лагере за распространение антинацистских листовок.

Эта интернациональная послевоенная интеллектуальная закуска дала на выходе поразительной мощи интеллектуальные про-

дукты. И снова – у Геллнера – отсыл к Попперу, совсем не скрытая цитата в названии книги: «Условия свободы: гражданское общество и его враги» (Школа перевела эту книгу на русский, смягчив последнее понятие – «и его исторические соперники», потому что у Поппера – «enemies», а у Геллнера – «rivals»). Книга вышла незадолго до смерти профессора, после которой в Кембридже приспустили флаги, и посвящена она – да, «Лене и Юре Сенокосовым».

Геллнер подолгу жил у Сенокосовых. Как Мераб. Странно, в этой квартире, кажется, нет быта. Только застолья, разговоры лучших людей страны и мира, фотографии близких и Мамардашвили. И книги. Которыми «жонглирует» Юрий Петрович. Он их издал, сохранил, переиздал, применил к случаю и по назначению.

Люди превращались в книги. И Геллнера Сенокосов издал как визитную карточку Школы, как ее интеллектуальную валюту. Самую важную с точки зрения просветительского проекта – ту самую книгу, «Условия свободы». В ней содержится, в частности, определение гражданского общества. Описывая горбачевскую эпоху, Геллнер писал о том, что она потребовала нового идеала или лозунга: «Этот лозунг – довольно естественно – и был найден в идее гражданского общества, то есть институционального и идеологического плюрализма, препятствующего установлению монополии власти и истины и уравнивающего центральные институты, которые, будучи необходимыми, вместе с тем заключают в себе опасность создания такой монополии».

У Эрнеста Геллнера был пророческий – с точки зрения понимания важности сюжетов для будущего – интерес к национализму, мусульманской культуре, восприятию авторитарных режимов. Едва ли возможно экстраполировать его анализ на сегодняшний день – это мог сделать только сам философ, а он умер в 1995 году. Но эволюция национализма (который лишь в исключительные исторические эпохи идет рука об руку с либерализмом, как в конце 1940-х или в конце 1980-х), природа конформистского восприятия тоталитарной власти (Геллнер показал, что конформизм естествен для общества, равно как и быстрая смена позиций в соответствии с изменением социального уклада и политической власти), отснут-

ствие интеллектуального плюрализма в исламе – все это важно для понимания процессов, происходящих сегодня.

Авторитарный или даже тоталитарный социальный порядок Геллнер считал «нормальным», во всяком случае, преобладающим в истории (собственно, вслед за ним и Дуглас Норт называл такие порядки «естественными государствами», а Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон толковали о преобладающих «экстрактивных» системах). И не только потому, что диктаторы под страхом репрессий навязывают собственную доминацию. «Чаще люди убеждены, что существующий порядок является в целом справедливым, – писал Геллнер в «Условиях свободы». – Считать иначе, полагать, что ты пойман в ловушку несправедливого общественного устройства, попросту неудобно. Люди будут скорее считать самих себя грешниками, чем обвинят общественный строй, в котором живут. Ощущение личной вины предпочтительнее, чем ненависть к вселенскому устройству. Нам нравится принимать и одобрять нашу Вселенную».

А вот гражданское общество с его политической децентрализацией, экономическим плюрализмом, свободой мнений, скепсисом, иронией и самоиронией, «с трезвым, инструментальным взглядом на власть, в которой для него нет ничего священного» – более замысловатая конструкция, и ее, соответственно, сложнее принять.

Та же механика действует при сравнении идей национализма и гражданского общества: «Спящая красавица национализма спит чутким сном, и пробудить ее можно самым деликатным из поцелуев. Спящая красавица гражданского общества может быть гораздо более желанна (хотя, разумеется, это дело вкуса), но нужны невероятные усилия, чтобы ее пробудить».

Чуть младше, но, по сути, из той же генерации Ральф Дарендорф. Это было Flakhelfer-Generation – поколение подростков и юношей 1926–1929 годов рождения, которых индоктринировали с помощью Гитлерюгенда и использовали в основном в качестве помощников Люфтваффе или в противовоздушной обороне. Некоторые из них были вынуждены даже повоевать, как, например, Гюнтер Грасс, призванный в танковую дивизию СС. Потом эту генерацию назо-

вут «поколением скептиков», оно же «поколение 1945 года», с которым связывалось послевоенное интеллектуальное возрождение новой Германии. Среди представителей этой «волны» – тот же Грасс, философ Юрген Хабермас, эссеист Ханс Магнус Энценбергер, социолог Никлас Луман и Дарендорф.

Но ведь и Джордж Сорос, в сущности, оттуда же, из послевоенного интеллектуального плавильного котла. Из тех, кто сталкивался с немцами – по ту сторону прицела. Еврей, переживший нацистскую оккупацию Будапешта, он в 1947 году стал студентом все той же Лондонской школы экономики. И учился он у Карла Поппера. Отсюда и название его фонда – «Открытое общество». Десятилетия спустя, изгоняя Сороса из России с его гражданско-просвещенческой филантропией, абсолютно уникальной и поднявшей в стране сразу несколько системообразующих институтов (от Библиотеки иностранной литературы до Высшей школы экономики), российские власти изгоняли и интеллектуальную традицию, заложенную им.

...Геллнер познакомил Сенокосовых с Дарендорфом. Три дня в конце 1989 года они жили в Оксфорде. 14 декабря умер Андрей Сахаров. Его кончину переживали у Дарендорфа, жившего недалеко от дома сэра Исаяи Берлина, разговоры с которым потом стали важной частью жизни Лены и Ю. П. Русский перевод книги Дарендорфа «После 1989. Размышления о революции в Европе» спустя несколько лет издаст Сенокосов. В ней профессор утверждал: «1989-й был столь же важен, что и 1945-й. Это был водораздел».

Дарендорф всю жизнь изучал классовые и социальные конфликты, считая их движущей силой истории. Но разрешать конфликт, разряжать его может только демократия. Конфликтующими субстанциями Дарендорф считал даже стремление к экономическому процветанию и соблюдение гражданских прав, притом что последнее – «гарантия прочного материального благополучия нации». Он называл это конфликтом между «ресурсами и притязаниями»: класс, живущий «в мире доступных благ», не всегда признает «законные притязания других».

Этот гигант сам стоял на плечах гигантов. И в работе «Современный социальный конфликт» цитировал Карла Поппера: «Мы можем

вернуться к племени, но если мы хотим остаться людьми, мы должны двигаться вперед, к гражданскому обществу».

Сама послевоенная модель переоценки ценностей, строительства новой архитектуры мира и движения к формированию новых институтов, этого каркаса западной цивилизации, стала одним из источников размышлений о будущей Школе. Ее основатели решили средствами просвещения знакомить молодых людей постсоветской России со смыслом и содержанием универсальных ценностей. Эта задача сама по себе была непростой. Но после времен тотального подавления гражданского общества и кризиса универсализма в западном мире, прежде всего в Европе, она осложнилась еще больше.

«Когда нам открылся Запад, – говорила Лена на одном из школьных семинаров, – мы на него смотрели потребительски. Мы не изучали этот мир раньше и не понимали, почему некоторые его идеи стали универсальными. В СССР всегда критиковали капитализм. Поэтому предметом размышлений стал поиск утраченного универсализма и попытка предложить способ переосмысления или, если угодно, переучреждения его ценностей».

Эта тема всегда жила в Школе, потому что она сама – так получилось по субъективным и объективным причинам – европейский проект. Чтобы объяснить, как это получилось, стоит отступить на несколько шагов назад, к тому времени, когда после обыска и допросов потекла обычная жизнь московских интеллектуалов. Только живущих так, как будто рядом не было советской власти.

Началась первая половина 1980-х – «ППП», «пятилетка пышных похорон», пустое время свинцовой беспросветности. Юрий Петрович продолжал работать в журнале под началом латиноамериканиста в штатском – а куда, собственно, деваться? Допросы прекратились, хотя уже собирался специальный «совет» по поводу того, как помочь Сенокосову. Галина Старовойтова, искавшая для Ю. П. адвоката, говорила: «Ну, уж если Сенокосова начали вызывать, значит, дела в стране плохи».

Лена работала в Библиотеке имени Ленина вместе с Даниилом Дондуреем, давала возможность подработать известным людям. Реферировали отечественную и западную литературу по искусству Олег Генисаретский, Евгений Барабанов, Дмитрий Борисов. Жизнь шла по ритмически организованной линии «библиотека–дом–Юра–библиотека–Таня». Таня! С ней, оторванной от семьи, жившей вначале в Италии, а потом в Лондоне, разговаривали много лет по телефону – разговор происходил, естественно, по предварительному заказу, из переговорной в доме на Пушкинской площади, где вскоре появилось знаменитое кафе «Лира». Была еще одна точка звонков – Арбат, дом напротив ресторана «Прага». Разговор заказывался за неделю и длился несколько минут.

«Нам уже было между сорока и пятидесятью. Думали, так и будем доживать свою жизнь», – говорит Ю. П. И тут началась перестройка. Гравитация, затягивавшая людей в круг семьи Лены и Юры, вдруг начала постепенно обретать двойную силу. В конце 1980-х Сенокосова пригласили заниматься изданием книжной серии «Из истории отечественной философской мысли», приложением к журналу «Вопросы философии». А до этого, в 1987 году, когда Джордж Сорос только-только появился в России и начал поддерживать отечественную культуру, Юрия Петровича привлекли к участию в работе по обновлению гуманитарного образования – он искал авторов, готовых участвовать в конкурсе по написанию учебников по философии.

Где можно было добыть работы русских философов? Конечно, в парижском издательстве YMCA-press. И Сенокосов, не раздумывая, отправился в Париж к Никите Струве. Несмотря на то, что тот крайне настороженно относился к пришельцу из все еще советской России, доверия к которой не было. Тем более, у выходца из старой русской эмигрантской семьи, внука самого Петра Струве.

Разумеется, Никита Струве не мог знать, что невидимая нить соединяет его с «человеком из СССР», приехавшим за текстами, которые он собирался издать в стране Советов. Сборник с болотно-зеленой обложкой и оранжевыми буквами «Из-под глыб», в котором были напечатаны тексты круга знакомых Сенокосова и, главное, статья его друга Евгения Барабанова и публицистика Александра Сол-

женицына, был издан в 1974 году в УМСА-press. Горбачевская демократия за несколько лет достигла, однако, такого масштаба, что осенью 1990-го мне удалось купить аутентичный том «Из-под глыб» за 25 рублей в исчезнувшем ныне букинистическом отделе магазина «Академия» на Тверской у знаменитого на всю Москву аккуратнейшего и педантичнейшего старика-букиниста Яна Яновича...

А в 1989-м Ю. П. настоял на своем приезде в Париж к Никите Алексеевичу. Набрал у него книг и даже получил неизданную рукопись Сергея Булгакова. Правда, с «секретом». Вероятно, Струве проверял своего гостя и не доложил в рукопись несколько страниц. Сенокосов позвонил в Париж и попросил все-таки прислать недостающие страницы. Они были присланы – очевидно, в знак доверия.

В тот свой приезд в одной из букинистических парижских лавок Юрий Петрович случайно обнаружил изданную в 1939 году работу Льва Шестова «Киргегард и экзистенциальная философия». Сенокосов – альтруист, для него главное, чтобы книга была издана. Он всегда искал людей, которые могли бы, используя свой интерес и знания, наилучшим образом подготовить к изданию того или иного философа. Эта книга была подготовлена к печати Анатолием Ахутиным в 1991-м, когда сам Сенокосов уже расставался с работой над приложением к «Вопросам философии».

И в том же 1989 году был сделан еще один шаг в сторону Школы: Лена и Юра инициировали создание журнала о современном искусстве (были подготовлены макеты двух первых номеров), к работе над которым были привлечены мощные интеллектуальные силы – художник Владимир Сулягин, Денис Драгунский, Гасан Гусейнов, Екатерина Деготь, Евгений Барабанов, Борис Гройс. Но затея не удалась по финансовым причинам. Однако тест на притяжение адекватных просвещенческим задачам людей Юрий Петрович и Лена снова прошли.

А затем движение продолжалось в сторону Европы – возникла своего рода «протошкола». Причем у Немировской и Сенокосова нет четкого ответа, как так получилось: «Ну, как-то приходили люди...». Та самая гравитация: «Кто-то давал адреса и приезжали иностранцы».

Ничего себе иностранцы – Клод Лефор, выдающийся французский политический философ, ученик Мориса Мерло-Понти, известный своей полемикой с Жан-Полем Сартром и фундаментальной работой о Макиавелли; Франсуа Фюре, президент Фонда Сен-Симона, историк, автор книги «Постижение французской революции»; Пьер Розанваллон – будущий член Французской Академии наук; Элен Каррер д'Анкокс – член Французской Академии наук.

С Фюре Лена и Юрий Петрович организовали и провели в феврале 1993 года в Москве международный семинар «Токвиль и будущее демократии». Написанная в начале 2000-х книга Розанваллона «Общество равных», в которой исследуются феномены равенства и неравенства, институты перераспределения и солидарности, посвящена памяти Клода Лефора. Другая его работа «Демократическая легитимность» о кризисе представительной демократии и появлении – через гражданское общество – новых форм легитимности, тоже была опубликована Школой по-русски – в 2015 году. Уже с пометкой мелким шрифтом, указывающей, что книга издана НКО-«иностраннным агентом».

В этой книге развиваются идеи о свойствах современной демократии и легитимности правителей, которые и в самом деле едва ли понравились бы нынешней политической власти в России: «Выборы отныне играют более узкую роль: они лишь подтверждают способ назначения правителей. Они более не предполагают одобрения а priori той политики, которая будет проводиться впоследствии... Интерес большего количества людей уже не так легко, как раньше, приравнять к интересам большинства... Общество отныне представляет собой широкий спектр положений меньшинства. “Народ” стал теперь множественным числом “меньшинства”... воля избирателей продолжает терять свою центральную роль, что уже наблюдается в сфере гражданской активности. В книге “Контрдемократия” я описал, как возникли и обрели жизненную силу образы народа-контролера, народа-вето и народа-судьи, в отличие от народа-избирателя, который стал менее активным». Для подтверждения своей легитимности власти недостаточно быть избранной – ей надо еще доказать свою дееспособность, утверждает Розанваллон.

Однажды Фюре предложил Лене и Юре свозить Лефора на Красную площадь: «Он ее никогда не видел». Пробежав по брусчатке от собора Василия Блаженного до Исторического музея и вернувшись к Спасской башне, Лефор воскликнул: «Она, оказывается, такая маленькая. И она изменила мир!». Книгу Франсуа Фюре «Прошлое одной иллюзии», в сущности, о странной и ложной притягательности этой самой площади, воплощавшей коммунистическую идею, тоже потом опубликует по-русски Сенокосов.

В поле гравитации Сенокосовых оказался и английский историк Джеффри Хоскинг, чья страстью всю жизнь была русская история. В декабре 1990 года в Школе славистики при Лондонском университете при содействии Хоскинга была проведена конференция – еще не семинар Московской школы политических исследований, но уже семинар Немировской и Сенокосова. Эта конференция рождалась постепенно, на ней должны были выступить и Мень, и Мамардашвили. Но первый опыт вынужденным образом прошел без них. Среди участников были Лев Аннинский, Евгений Барбанов, Андрей Смирнов, Леонид Ионин, Галина Старовойтова, Владимир Корнилов... Густой интеллектуальный бульон... Лев Аннинский потом очень точно описывал впечатления среднестатистического эксперта Школы, попадающего в европейских городах на ее сессии и панели: «Поскольку заседания были спланированы и велись с секундной точностью..., то посмотреть что-либо, кроме лондонской университетской башни, можно было только стариннейшим способом “прогуливания уроков”. Что я и делал: глядя на секундную стрелку, сбегал с заседания, которое решался пропустить, и возвращался на заседание, которое пропустить не решался, добегая в эти секунды до тех или иных предельно достижимых объектов: до Трафальгарской площади... до Букингемского дворца... до Парламента... до Тауэра...».

Спустя полтора года в Ко под Женевой под эгидой «Морального перевооружения» участники второго «дошкольного» семинара разбирались с советской историей, чтобы лучше понять будущее. Юрий Карякин говорил о возможности издания «библиотеки покаяния, би-

блиотеки исповедей». Лен Карпинский рассуждал об «интеллектуальной совести». И в общем не то чтобы предсказывал времена, когда вернется интеллектуальная бессовестность, но не прогнозировал легкого пути: «Следующим поколениям придется еще схватиться с проблемой лжи, мифологии и вложить немало труда в распознавание и преодоление лжи». Евгений Барабанов ставил точный диагноз состоянию общества, впервые «потрогавшему воду» альтернативы коммунизму, диагноз, многое объясняющий в повороте массового сознания к авторитаризму: «Плюрализм, свобода, демократизация, экономическая инициатива предстали на нашей почве как произвол, этический релятивизм, как грозные знаки морального и этического одичания. И одновременно – в ответ! – как потребность нового порядка, властной опоры, единой картины мира, общей системы ценностей, наделяющих особым статусом привилегированное пространство коллективной идентичности». Алексей Салмин разбирался с природой «советского» и по сути предсказывал будущую ностальгию по СССР.

Об Алексее Салмине как об одной из ключевых для Школы фигур вспоминает один из первых ее выпускников политик Владимир Рыжков, по сию пору сохраняющий привязанность к Лене и Ю. П.: «Нас, первых слушателей Московской школы политических исследований (МШПИ), больше всего из экспертов Школы поразило Алексей Михайлович Салмин. Он стоял у ее истоков и выступал на самом первом семинаре, в подмосковных «Лесных дачах» в 1993 году. Мы собрались туда все разные – депутаты первой Госдумы, региональные политики, молодые журналисты. Мы были необычайно активны, амбициозны, политизированы и при этом *немы*. Мы плохо понимали смысл того, что рассказывали нам выдающиеся западные эксперты. В ту пору никто из нас не владел этим языком, понятиями, смыслами. Прошли годы, пока дистанция сократилась, и мы смогли думать и говорить с западными политиками и интеллектуалами на одном языке».

Салмин выступал на семинарах школы много лет – до самой кончины в сентябре 2005 года. Он был членом попечительского совета МШПИ и одним из тех, кто «в решающей степени, – продолжает Рыжков, – определял лицо, стиль и высочайший интеллектуальный

уровень Школы. В 1990-е годы ни один другой российский эксперт не имел среди школьников такого авторитета и не вызывал такого огромного интереса, как Салмин.

Россия строила в 1990-е годы демократию, но что мы знали о демократии? Салмин был одним из немногих российских ученых, кто понимал демократию не только инструментально, но и философски. Одна из его главных и классических книг “Современная демократия: очерки становления” имеет международное значение.

Я хорошо помню его фундаментальные лекции о различии политических систем, о республиканизме, о партиях и партийных системах, о различных избирательных системах. Сейчас мы освоили эти области знаний, но тогда Салмин был единственным, кто в этом по-настоящему разбирался. Салмин познакомил нас с проблематикой и идеями своего любимого Токвиля. Он показал все тонкости различий между правом, законом, легализмом и легитимностью. Он раскрывал перед нами проблематику свободы. Салмин объяснил нам, как и почему Советское государство было нелегитимным, прервавшим преемственность русской истории. Как решался вопрос восстановления легитимности, прав собственности и системы права в постнацистской Германии и поскоммунистической Восточной Европе. Он был убежден, что прочную Россию не построить, не решив всех этих вопросов у нас.

Салмин ставил на место наши мозги. Он вводил советских молодых людей, с очень своеобразным и узким гуманитарным образованием, в рамки классической мировой философской и общественной мысли, включая труды самых современных мыслителей. Казалось, нет ни одной важной книги ни на одном из языков, которую бы он не прочел. Одна из его любимых тем была – федерализм как условие сохранения свободы, разнообразия, целостности России.

Салмина беспокоило будущее России. Он видел, какой трудный путь лежит перед русской демократией. Он говорил о борьбе старых и новых институтов, о том, что старые институты (армия, церковь, бюрократия, спецслужбы, прокуратура, нереформированные суды) могут со временем поглотить и злокачественно изменить новые институты демократии (партии, парламент, местное самоуправление,

свободную прессу, федерализм, права и свободы граждан, саму молодую Конституцию). Увы – так все и произошло в 2000-е годы. Сегодня нам стоит вернуться к наследию Салмина, подумать вместе с ним – что делать со всем этим дальше.

Салмин был настоящий русский интеллигент. Тонкий, мягкий, улыбчивый, много шутящий и смеющийся. Он говорил бархатным голосом, точно и образно, всегда парадоксально, так что следить за ходом его размышлений было истинным удовольствием. Он был оратор негромкий, но захватывающий, сократовского типа. После его лекций оставалось желание думать, читать, разбираться дальше.

У Салмина была любимая жена Маша и две замечательные дочери. Когда Маша умерла от тяжелой болезни, Салмин сильно тосковал, почти всегда находился в глубокой депрессии. Я бывал у него иногда в темном кабинете в Лучниковом переулке, и мы подолгу беседовали о политике, об обществе, о книгах. Он продолжал писать, редактировал журнал "Полития". Но вскоре после смерти жены тоска съела и его».

В промежутке между семинарами был сделан еще один важный шаг к оформлению идеи Школы – участие Немировской и Сенокосова во французском сборнике *Belvédère* (с подзаголовком «Европейское обозрение»), приложении к *L'Express*, одному из самых популярных и влиятельных еженедельных журналов Франции. Лена была одним из членов редсовета приложения – «внешним советником» по проблемам Советского Союза. Потому что это был еще 1991-й, предзакатный год для СССР. Впрочем, номер с большой подборкой по России был уже помечен январем-февралем 1992-го. Серия материалов называлась «Россия: призыв к Европе». Авторами были не затерявшиеся и в последующие годы эксперты и журналисты: сама Лена, Татьяна Ворожейкина, специалист по латиноамериканским режимам, Глеб Павловский, одна из самых противоречивых фигур среди интеллектуалов при власти, Андрей Фадин, вскоре погибший в свои 44 года, Лен Карпинский, Владимир Кулиستиков, да-да, тот самый будущий телевизионный медиа-менеджер, сто-

ящий в ряду одиозных фигур путинской пропаганды, а тогда, в начале 1990-х, один из самых талантливых журналистов своего поколения.

Как получилось, что Немировская оказалась в такой близости к проекту французского *L'Express*? И почему из этой истории выросла Школа?

Знакомство с историком и, как ее иногда называют, «французско-американской писательницей» Дианой Пинто произошло совершенно случайно и заочно в октябре 1990 года. Тогда же и начался разговор о сотрудничестве с *Belvedere*. В конце того же года Сенокосовы отправились в Лондон навестить дочь Таню и там познакомились с его главным редактором Жеромом Демуленом, предложившим Лене работу в *Belvédère* – СССР был в моде, все пытались понять, что там происходит. В начале лета 1991-го Сенокосовы оказались в Париже и рассказали Пинто и ее мужу, профессору Доминику Моизи, который, как и Жером Демулен, был в свое время аспирантом Раймона Арона, об идее Школы и передали им пару страниц с описанием ее проекта.

В августе случился путч, и французские редакторы настоятельно требовали от Лены статью об этом событии. После долгих уговоров они убедили написать ее о своем переживании участника противостояния путчу. Текст «Письмо из Москвы» был опубликован в осеннем номере *Belvédère*. Он имел большой успех, был перепечатан европейскими газетами, и Лена, как она сама вспоминает, «приобрела мгновенную известность».

Но еще до появления этого «письма» состоялся важный для будущей Школы звонок Доминика Моизи: «Завтра к Ельцину на встречу едет мадам Катрин Лалюмьер, генеральный секретарь Совета Европы. Она с ним будет беседовать часа полтора, а после восьми у нее свободный вечер. Мы хотели, чтобы вы с ней познакомились... Только, пожалуйста, не путайте генерального секретаря Совета Европы с председателем Европарламента. И Страсбург с Брюсселем».

Доктор публичного права, занимавшая разнообразные посты, вплоть до министерского, в команде президента Франсуа Миттерана и премьер-министра Пьера Моруа, Катрин Лалюмьер была выбрана в 1986 году главой Совета Европы, что счастливым образом совпало

со взлетом Михаила Горбачева. В содружестве с которым и родилась концепция, ныне незаслуженно подзабытая, «общеевропейского дома».

Надо видеть эту женщину. Мадам Лалюмьер – это элегантность и величественность, излучающая при этом доброжелательность. В ней есть внутренний стержень, и это в ее-то нынешние 80 лет. Госпожа профессор, а затем министерша была по-настоящему красива.

И вот восемь часов в квартире Сенокосовых (не отсюда ли пошла традиция принимать гостей именно в это время, не раньше?), полдевятого, девять... «Я как человек из советского небытия была потрясена, – вспоминала Лена. – Нет, я всегда понимала в туалетах, но... этот красный шарф... В квартиру вошла классическая француженка, при этом интеллектуалка, католичка... я задохнулась от эффекта, который она произвела». Вместе с Лалюмьер пришли еще несколько человек – члены ее делегации. Говорили о том, что тогда было важным и насущным – демократии, Прибалтике. Юрий Петрович рассуждал о французской философии и Декарте – благо эта тема была ему близка, в том числе через Мамардашвили. Глубокой ночью гости собрались уходить, и кто-то из сопровождавших генерального секретаря попросил «страницы о Школе», о которых рассказывал Доминик Моизи.

Прошло 10 месяцев и Лену пригласили в Страсбург, к Лалюмьер, причем в пожарном порядке. Разговор, казалось, носил теоретический характер. А когда встреча закончилась и Лалюмьер проводила Немировскую до двери, в приемной Лена увидела своего старого знакомого, в то время посла России в США Владимира Лукина. В его присутствии генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) и сообщила, что Школа станет европейским проектом. Правда, в то время Российская Федерация еще не была членом СЕ, и потому проект превратился для Лалюмьер едва ли не в личный.

Собственно, тот факт, что сотрудничество Страсбурга с Россией началось с проекта Немировской и Сенокосова, повлиял в то время – 1990-е годы – и на имидж России. На то, что страну приняли в Совет Европы, как не раз говорила Катрин Лалюмьер. Это к вопросу о роли личности (-ей) в истории.

В декабре 1992-го, когда в России разворачивалась драма с падением правительства Егора Гайдара, Московская школа политических исследований была зарегистрирована как российская неправительственная организация – при поддержке Совета Европы. В начале апреля 1993 года в номенклатурном доме отдыха «Лесные дали», находящемся в самом конце Рублево-Успенского шоссе на берегу Москвы-реки, прошел ее первый семинар. Его открывал Эрнест Геллнер. Слушатели – более 30 молодых людей из российских регионов – были потрясены уровнем экспертов Школы, эксперты – уровнем слушателей, среди которых были политик Владимир Рыжков, будущий спичрайтер президента России Лариса Мишустина, депутат, а впоследствии редактор журнала «Неприкосновенный запас» и, пожалуй, лучший модератор сессий МШПИ Андрей Захаров.

В общем, Школа выросла из идеи большой Европы и распространения европейских ценностей. Да, она существует более двух десятилетий, но на самом деле как европейскому проекту, в основе которого были и послевоенные интеллектуальные традиции советской контрэлиты, ей гораздо больше лет. А в 2014 году, когда Школу выталкивали из легального российского поля, у Сенокосова и Немировской родилась идея перезагрузки европейских ценностей. В духе послевоенных возрожденческих настроений, когда возник и сам Совет Европы. Была задумана европейская конференция, а точнее, форум «В поисках утраченного универсализма». В первый раз он собрался в октябре 2015 года в Берлине (потом будет и второй форум в 2016-м). Разговор об универсализме в контексте высказывания Мамардашвили «Культур много, цивилизация одна» едва ли мог что-то изменить в Европе и России, во всяком случае сразу. Но любые изменения в мировой истории начинаются с разговора. Как правило, философского.

На семинаре в Голицыно, традиционном месте для российских встреч Школы (когда они еще были возможны), в апреле 2013-го Катрин Лалюмьер говорила: «Отцы-основатели европейского здания в то время (в послевоенные годы. – А.К.) хотели примирить между со-

бой европейцев, чтобы построить мир. Это было довольно сложное предприятие, потому что в течение многих веков европейцы постоянно воевали между собой. Но отцы-основатели хотели построить новую мирную Европу, пережив опыт тоталитаризма тридцатых годов и ужас войны. И стремились добиться одновременно необратимого мира, чтобы Европа снова не скатилась к тоталитаризму, варварству. Поэтому европейская конструкция должна была обустроиваться на фундаменте ценностей и принципов политической философии... Постепенно новые ценности приняли все члены Совета Европы».

Этому послевоенному европейскому порыву, его философии и опыту основатели Школы всегда уделяли большое внимание. Не случайно в рамках издательских программ были переведены и изданы работы отцов-основателей нового европейского порядка – «За Европу» Робера Шумана и мемуары Жана Монне «Реальность и политика». Мышление, философия, ценности, сам дух 1940-х–1950-х вдруг стали гиперактуальными в эпоху после Крыма и фактического разрыва России с Западом.

Разберем эту историю подробнее – и тогда яснее станет акцент самой Школы именно на идеях того времени как актуальных для дня сегодняшнего.

В важнейшем для европейского сознания документе – Декларации Робера Шумана 1950 года сказано, что тесные производственные и торговые связи между Францией и Германией сделают войну на европейском континенте невозможной. Это и есть то самое смягчающее дикие политические инстинкты значение коммерции, которое отмечал еще Шарль Монтескье и на котором делал акцент знаменитый экономист Альберт Хиршман в работе «Страсти и интересы» – *deux commerce* («сладостная» – в значении «спокойная», «смягчающая» – торговля). Собственно, с этого призыва к совместному производству Францией и Германией угля и стали, а не оружия и началось практическое движение к единой Европе.

Характерно, что серьезный шаг к изоляции от западного мира был сделан современной Россией именно в области торговли – тогда, когда она втянулась в гонку санкций. (А до того утратила воз-

возможность заимствований на Западе, из-за чего начался инвестиционный голод.)

Это ужесточение и ожесточение политики дополняло гибридную войну, которая уже шла на юго-востоке Украины. Угроза полномасштабной негибридной войны вытекала из пренебрежения «сладостью коммерции», на которой строилось не только благополучие среднего класса, но и благодаря которой наполнялась сравнительно дешевая потребительская корзина среднестатистического россиянина.

«Девестернизации» сознания способствовало и психологическое оправдание войны в принципе, отчасти спровоцированное тем фактом, что Владимир Путин, как когда-то Екатерина II, занял Крым без единого выстрела. Отсюда возникла иллюзия триумфальной легкости войны, которая, вообще говоря, исключена из европейского сознания. Демократии в постиндустриальном мире между собой не воюют, война противоречит принципам *dois commerce*, даже если сливки нашего истеблишмента считают, что жизнь есть борьба за рынки любыми средствами, включая военное вмешательство и покушение на суверенитет.

Вообще, идеологическая абсолютизация суверенитета и пропагандистские спекуляции на этом понятии – верный признак изоляционизма. В конце Второй мировой войны один из будущих архитекторов единой Европы Жан Монне считал, что главной послевоенной опасностью для континента стало бы «восстановление Европы, состоящей из суверенных государств, подверженных соблазнам протекционизма». Это не означало, что Монне настаивал на отмене суверенитетов. Это означало, что фетишизация суверенитетов имела бы для Европы, ее экономики, политики, для переосмысливаемых европейских ценностей серьезные негативные последствия, сопровождаемые невозможностью избавиться от наследия – экономического, политического, психологического – мировой войны.

«Если страны Европы займут позицию изоляции и конфронтации, – писал Жан Монне, – снова станет необходимым создание армий. По условиям мира, одним странам это будет разрешено, другим – запрещено. У нас уже есть опыт 1919 года, и мы знаем, к чему это ведет. Будут заключаться внутривосточные союзы – нам из-

вестно, чего они стоят. Социальные реформы будут остановлены или замедлены военными расходами. И Европа снова начнет жить в состоянии страха». (Заметим попутно, что русский философ Лев Шестов еще в работе 1920-х годов «Potestas clavium» обращал внимание на то, что если бы народы европейского континента не дали вовлечь себя в Первую мировую войну, за эти потерянные годы «вся Европа обратилась бы в рай».)

Из того же послевоенного переосмысления ключевых ценностей и понятий – работа католического философа Жака Маритена «Государство и человек», на которую ссылается в своей книге «Власть как проблема» Юрий Сенокосов. Маритен, исследователь Фомы Аквинского, один из авторов Всеобщей декларации прав человека 1948 года, утверждал: «Два понятия – “суверенитет” и “абсолютизм” – выкованы вместе, на одной наковальне. И оба их следует отбросить». Он понимал суверенитет как абсолютную власть монарха, без учета права народа на самоуправление и «уполномоченности», в каком-то смысле – подотчетности власти. При суверенном государе народ – это подданные, а не граждане.

Характерен диалог, показывающий эволюцию понятий «патриотизм» и «суверенитет», эмигранта Йозефа и его приятеля, старого коммуниста Н. в романе Милана Кундеры «Неведение» (роман издан в 2000 году, действие же происходит в первые годы после «бархатной революции», когда стало возможным возвращение в Чехословакию изгнанников): «Национальная независимость давно стала иллюзией, – сказал Н.

– Но если страна не суверенна и не стремится ею стать, готов ли будет кто-нибудь умереть за нее?

– Я не хочу, чтобы мои дети готовы были умереть... Умереть за свою родину, такого больше не существует. Быть может, для тебя, в годы твоей эмиграции, время остановилось. Но они, они уже не думают, как ты.

– Кто?

Н. поднял голову к верхним этажам дома, как бы указывая на свое потомство.

– Они в другом мире».

Об этом же феномене в книге «Изобретение мира» писал эксперт Школы Майкл Ховард, когда отмечал «общее для западных урбанизированных обществ нежелание нести тяжелые потери» и называл эту эпоху «постгероической». Но трудно увлечь этой идеей мир, где героизируется смерть за Пророка, а безвестная гибель на полях Донбасса или в сирийской пустыне сравнивается с героизмом солдат Великой Отечественной войны.

Сегодняшняя ситуация осложняется тем, что Европа сама находится в кризисе: вызовы миграции, радикального ислама, терроризма, правого и левого популизма и осложнившихся отношений с Россией испытывают на прочность жизнеспособность демократических западных ценностей. Главное противоречие Европы, вызванное общемировым трендом старения населения, это противоречие между выбытием трудоспособных возрастных когорт, в результате чего рынок требует все большего числа мигрантов, и экспансией мигрантских культур, которые не близки местному населению. Популярность крайне правых партий и евроскептицизм, антимигрантские настроения – реакция на эти угрозы, на неопределенность будущего, на растущее социальное неравенство, на конфликты по линии Север–Юг и Запад–Восток. Как писала Ханна Арендт в эссе о Карле Ясперсе, «солидарность человечества вполне способна обернуться невыносимым бременем, и не удивительно, что обычная реакция на нее – это не энтузиазм или стремление к возрождению гуманизма, а политическая апатия, изоляционистский национализм или отчаянный бунт против любой власти».

Но пока «сопротивление материала» европейских ценностей таково, что эти вызовы оказались не способны поколебать основы демократии, правового государства и рыночной экономики.

Да, современная Европа – это уже не мир Жана Монне и Робера Шумана, даже не тот мир, который возник после крушения Берлинской стены. Но западные фундаментальные ценности – во всяком случае, пока – остаются страховочной сеткой от фундаментализма и популизма.

Вот на этом пересечении идей и родился замысел берлинской конференции Школы.

Что в принципе можно было бы предложить с точки зрения обновления и возрождения европейского духа, с позиций «послевоенного» (после войн на Украине, в Сирии) устройства мира? Все в соответствии с размышлениями Катрин Лалюмьер – использовать не столько мощь государств и официальных структур, сколько «мягкую силу» гражданских движений и просто людей Европы, включая россиян, обеспокоенных атмосферой недоверия и языком вражды. Да, с сегодняшней Россией трудно, и тем не менее, – открытые границы, международное образование и свобода торговли, все, что способствует свободному передвижению капитала, идей и нематериальных ценностей – должно работать на сближение Европы и России, возвращение России в Европу.

«Мы не создаем коалиции государств, мы объединяем людей», – говорил архитектор единой Европы Жан Монне. 18 августа 1966 года он сделал в своем дневнике поразительные по простоте, но и глубине тоже, записи: «Свобода – это цивилизация.

Цивилизация – это правила + институты.

И это так, потому что развитие человека – главная цель всех наших усилий, а не возвеличение родины, большой или малой.

1. Это дар – родиться на свет (человеком).
2. Это дар – родиться в нашей цивилизации.
3. Неужели мы ограничим этот дар национальными барьерами и ограждающими нас законами?».

Сначала – люди, потом – правительства. Сначала просвещение – затем его плоды в виде возникновения миллионов русских европейцев, русских патриотов, для которых процветание России не в войне и изоляции, а в ее открытости миру и привлекательности как для идей и людей, так и для инвестиций. Detente-2 может начаться не в правительствах, а в гражданском обществе. Россия способна вернуться в цивилизацию, к которой она принадлежит. За людьми последуют и правительства. Только надо дать толчок этому процессу.

Многое зависит от элит и их открытости. Как писал сэр Майкл Ховард, «мировой порядок не может быть создан просто построением

международных институтов и организаций... Их создание и функционирование требуют, по меньшей мере, существования транснациональной элиты, объединенной одними и теми же культурными нормами, и способной вместе с тем сделать эти нормы приемлемыми и в своих обществах».

«Спасайте людей, а не фирмы!», – сказал как-то экономист Лестер Туроу. То же самое относится не только к экономике, но и гражданскому обществу. Европейцами сначала становятся люди, ибо без людей нет институтов. И пути обновления этих институтов так и не станут ясны, если гражданские общества Европы и России не обозначат свой спрос на цивилизационное единство и политическую демократию.

Это как раз то, что Мераб Мамардашвили называл «европейской ответственностью», выступая на симпозиуме «О культурной идентичности Европы» в Париже в 1988-м, когда уже стал выездным. Слово бы предвидя сегодняшние проблемы и новый кризис идентичности, Мамардашвили говорил о том, что «европейскость» не дана раз и навсегда, как в те годы, возможно, казалось жителям континента, естественным представителям западной цивилизации. Ее следует регулярно обновлять. Сохраняя, – переформулировать, прилагая «усилие». «У Европы нет возраста, она всегда в состоянии рождения. Именно так следует рассматривать ее ответственность в отношении себя самой».

Это небольшое выступление Мамардашвили невероятно глубокое. В том числе и потому, что он говорил как человек, который родился и сформировался в несвободной стране, который видит Европу – и риски ее существования в случае утраты способности к «усилию» – со стороны: «Для меня Европа – это форма, показывающая, что существует орган жизни, присущий человеку, и этим органом является история. Возрождение – это история как орган жизни».

И далее – о том, чего не было в его стране, о гражданском обществе: «Именно это “возрождалось” и на этом основывалось гражданское общество. И мы, у которых тело не так развито, у которых иная “конституция” гражданского общества, хорошо понимаем, чего нам

не хватает и, более того, что получить это можно только историческим путем. Лишь приложив усилие и поддерживая усилие».

И вот спустя более четверти века снова встал вопрос о приложении «усилия» в условиях кризиса европейской ответственности и идентичности, когда люди столкнулись с вызовом массовой миграции «чужих» в Европу, вызовом войны с террором, с тем, что Россия оказалась не втянутой в поле мягкой силы западной цивилизации, а некоторые члены Европейского союза и иных структур-«якорей» западного мира, казалось бы, навсегда впитавшие его ценности, стали отказываться от них, не избежав соблазна ультраправого популизма.

Как вернуть продуктивность «усилия» строителей послевоенного мира и Европы конца 1940-х – начала 1950-х годов? Могут ли универсальные ценности снова стать разделяемыми – не на бумаге, а на практике? Идейную рамку форума «В поисках утраченного универсализма» задали многие европейские интеллектуалы, в том числе, например, болгарский политолог Иван Крастев.

Вот как объяснялись в программе форума его замысел и корневая система: «Берлинский форум исходит из предпосылки, что существует много культур, а цивилизация одна, и она нуждается в постоянном созидании. После ужаса Второй мировой войны граждане государств Европы и других стран мира инициировали создание важных международных организаций, в том числе ООН, Всемирного совета церквей, Совета Европы и Европейского суда по правам человека. Универсалистский подход к понятию справедливости нашел отражение в ключевых международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека, Устав Совета Европы и Европейская конвенция о защите прав человека.

В последующие десятилетия дух всемирной гражданственности был воплощен в Манифесте Рассела–Эйнштейна 1955 года, положившего начало Пагуошскому движению в 1957 году. Пагуошская конференция по-прежнему служит форумом видных ученых, ратующих за мир. Кроме того, Манифест Рассела–Эйнштейна способствовал развитию Движения неприсоединения (1961) и появлению в 1968 году Римского клуба, который также изучает проблемы об-

щемирового значения. Такой этос лежит в основе Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975), Маастрихтского договора (1992) и учреждения Комиссара Совета Европы по правам человека (1999).

Берлинский форум призван возродить дух глобальной гражданственности. Сегодня Россию все чаще рассматривают через призму холодной войны. Однако Россия, страна самобытной и гордой культуры, шире и глубже навязываемых рамок. Миллионы россиян стремятся стать частью общечеловеческой цивилизации. Мы приглашаем вас присоединиться к нам».

Катрин Лалюмьер в своем выступлении на пленарном заседании первого форума в 2015-м говорила о потерянности современного человека, который в результате глобализации и свободного перемещения информации теряет опорные точки. Ценности, которые сейчас считаются универсальными, например, права человека, «на заре своего возникновения не считались ни естественными, ни универсальными. После прохождения многочисленных стадий развития (греческая философия, Возрождение, Реформация, Просвещение, Habeas Corpus, Magna Carta, Декларация прав человека и гражданина 1789-го и т.д.) эта концепция стала наивысшей ценностью Европы, усиленная и защищенная правом, воплощенная в институтах, созданных после Второй мировой войны...».

Эта 80-летняя женщина говорила о ценности открытости, которой противостоят современные тренды закрытости, и гражданском образовании – единственном средстве воспитания гражданина.

А потом выступал автор идеи форума – Юрий Сенокосов. Это было выступление философа (что совершенно нестандартно для любого рода конференций и семинаров), набросок которого прошел через многие руки и глаза. Итоговый текст сильно упростился и укоротился – потому что должен был стать устной речью. Он был очень важен в контексте понимания идейных истоков самой темы. Лучше привести его целиком, чем пытаться излагать и интерпретировать.

«Культур много, цивилизация – одна»

Известно, что слова «глобальный» и «универсальный» латинского происхождения и обозначают фактически одно и то же. А именно – нечто всеобщее. Но есть между ними и важное отличие. Если прилагательное «глобальный» (от латинского *globus*, то есть «шар») определяет нечто, относящееся к территории всего земного шара, – отсюда термин «глобализация», – то слово «универсальный» (от лат. *universalis*) хотя и обозначает нечто всеобщее, но уже не как существующее в пространстве постоянно, а как включающее в себя некую меняющуюся совокупность или общность людей.

К сказанному добавлю: кроме латинского слова «глобус», есть еще слово, но уже греческого происхождения – «сфера», тоже обозначающее шар, но смысл у него другой. Сфера это то, что над земным шаром. В XX веке французский теолог и ученый Пьер Тейяр де Шарден и русский ученый Владимир Вернадский назвали это ноосферой в отличие от биосферы. Согласно Вернадскому, ноосфера – это особое состояние биосферы, в которой ключевая роль принадлежит человеческому разуму. Человек, пользуясь интеллектом, с помощью Интернета фактически уже создал «вторую природу» наряду с существующей.

И в этой же связи назову еще один термин – «универсалия», напомним, что в Средние века «универсалиями» философы и теологи называли общие понятия и спорили об их происхождении. Суть же спора сводилась к следующему.

Все мы нередко употребляем слова «вид» и «род», не задумываясь об их происхождении. А философы еще в античное время задавались вопросом: существуют ли роды и виды самостоятельно, и в таком случае материальны ли они или же существуют только в мышлении? А если только в мышлении, то – отдельно от чувств или находятся в чувственных явлениях? Сегодня мы живем не просто в мире знания, полученного благодаря нашим органам чувств, а в мире на-

учного знания: в мире физики, биологии, математики, социологии, политэкономии.

Что это значит? Это значит, что долгом ученого является поиск, как сказал бы Эйнштейн, общих элементарных законов, из которых путем дедукции можно получить картину мира. Но к этим законам, говорил он, ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта интуиция. И закон не может быть точным, потому что понятия, с помощью которых он формулируется, могут развиваться и со временем оказаться недостаточными. И поэтому ученый должен обладать своеобразным религиозным чувством, то есть не считать, что те взаимосвязи, которые он постигает, впервые придуманы именно им.

Так вот, возвращаясь к вопросу о родах и видах. Этот вопрос стал в Европе основой почти тысячелетнего схоластического спора об универсалиях, в ходе которого выделились три основных подхода к его решению – реалистов, номиналистов и концептуалистов.

Реалисты признавали объективную реальность общих понятий (универсалий), то есть полагали, что они существуют независимо от материальных вещей.

Номиналисты считали, что общие понятия являются лишь именами (лат. *nōmen* – имя, название) единичных предметов, то есть признавали первичность вещей и вторичность понятий.

Тогда как концептуалисты отрицали реальное существование общих понятий независимо от единичных вещей (в противоположность схоластическому реализму), но признавали в отличие от номиналистов существование в уме концептов, *зародышей* мысли, – стимулируя развитие логики и онтологии и одновременно теологии. А затем, поскольку доминирующей темой философии Нового времени был поиск оснований достоверного познания, также требовавший решения проблемы универсалий, спор продолжался и продолжается в наши дни, но уже с ориентацией на языковое поведение как предельную смысловую реальность. Принимая во внимание, что распространение по земному шару благодаря рынку научно-технических открытий и изобретений вызывает как в развивающихся, так и в развитых странах формирование культа национально-культурной суверен-

ности, исключительности. Поэтому сегодня явно недостаточно критически реагировать на вызовы и противоречия глобализации, необходимо выстраивать *моральную и интеллектуальную альтернативу* ее угрозам. А именно – думать не только о глобальных интересах, но и об универсальных ценностях.

То есть я хочу тем самым сказать, что мы живем в эпоху глобализации и одновременно в период глобального, охватившего весь мир, кризиса, когда все предшествующие формы и способы преодоления кризисных явлений не работают. Идет ли речь об экологии, кризисе в финансовой сфере, гонке и продаже вооружений, беженцах, демографии. Философия Нового времени поставила задачу изучить природу и поставить её на службу человеку. В середине XX века, как известно, утверждается идея коэволюции – совместного развития человека и природы. Но, судя по всему, существующий хрупкий баланс между естественной и искусственной средой обитания человека сегодня тоже нарушен.

Возможна ли в этих условиях интеллектуальная альтернатива глобальному кризису?

Обратимся к истории Европы и ее великому наследию – античности и христианству. Вспомним, что античность оставила нам в наследство веру в завоевания человеческого ума с помощью грамматики, логики и риторики, когда, по словам Мераба Мамардашвили, впереди понимающей мысли нет ничего другого, она сама впервые завязывает историю. А христианство внесло в европейское общественное сознание трехчастную структуру Символа веры и идею нравственного восхождения человека.

Именно эти два начала определяли своеобразие европейской истории и культуры: ее динамизм, специфическую, гибкую систему ценностей и понятий, ее способность к моделированию и проектированию социальных процессов на основе культурных символов и знаков, социально-упорядочивающих и научных. Это позволило европейцам изобретать с целью достижения совместной более комфортной жизни разные предметы мысли, идет ли речь о философии, сфере искусства, экономики, о разделении властей, судебной системе и т. д.

Это и есть вклад Европы в созидание современной цивилизации.

А начиналось все с грамматики, логики и риторики, так как древние греки решили, и не без оснований, что главное, чему стоит учить детей – это, во-первых, умению грамотно писать, во-вторых, думать и здраво рассуждать и, в-третьих, убеждать других.

«Логика, риторика и грамматика, – писал в XIV веке философ и теолог, родившийся в Англии, Уильям Оккам, – суть подлинно практические руководства, а не умозрительные дисциплины, поскольку эти три области знания поистине управляют разумом в его деятельности».

Я процитировал в данном случае Оккама, а не Августина, который жил на тысячу лет раньше и в сочинениях которого тоже встречаются похожие фразы, чтобы ответить, во-первых, на вопрос, как-то заданный Мамардашвили: где была античная мысль, когда древние греки исчезли, а адресат еще не появился? Разумеется, в языке.

И, во-вторых, сказать: если Августина можно отнести к представителям эпохи универсализма веры, то Оккам ее фактически завершает, и начинается эпоха универсализма разума.

Начну с Августина, поскольку первое теологическое описание названных дисциплин о языке и его использовании появилось в его трактате «О порядке». Позднее они получили известное название тривиум, в переводе с латинского «перекресток трех дорог».

Напоминаю об этом, потому что со II века нашей эры именно на этом символическом перекрестке стали встречаться духовно-религиозные вожди христианства, Учителя Церкви, демонстрируя прекрасное владение тривиумом во время споров и дискуссий о божественных догматах.

Итак, где была греческая мысль, когда древние греки исчезли, мы уже знаем. В языке. А языков, как известно, много. Я имею в виду не только естественные языки, но и профессиональные – язык философии, теологии, физики, биологии, социологии. Однако мысль не язык и не знание, не понятие. Это концепт, от латинского слова *conceptum* – зародыш.

Так где же находится источник мысли, не поддающейся компьютерной и иной, логической формализации? Ведь когда мы говорим, мы слышим и воспринимаем слова, их значения, смысл, а не просто

физические звуки. Как можно, например, нечто мысленно увидеть и создать, что невозможно на первый взгляд даже представить? И тем не менее, это происходит. Причем я имею в виду не только современную технику, современные города, предметы и вещи повседневного обихода, произведения искусства, то есть так называемую вторую, искусственную природу, но и независимый суд, независимую прессу, разделение властей, современную демократию.

Следовательно, на язык сегодня стоит и нужно обращать внимание в первую очередь. Ведь в любом языке есть некая тайна или загадка происхождения, явно предполагающая осознание человеком своего несовершенства, которое он стремился преодолеть. В самом естественном языке с помощью логики (науки о законах и операциях правильного мышления), грамматики (науки о языке), искусства риторики, отвечающего за речевую коммуникацию. В области религиозного и светского искусства – с помощью создания музыкальных произведений, художественных и поэтических образов; в политической и социально-экономической сфере – с помощью разделения властей, права. Не говоря уже о современных технических средствах массовой коммуникации – печати, радио, кинематографе, телевидении, Интернете. Насколько успешно такое преодоление человеком своего несовершенства – другой вопрос. Но нет сомнения, что об этом стоит думать, не забывая одновременно о тех удивительных прозрениях, открытиях и изобретениях задолго до эпохи Нового времени, которые стали основой последующего познания человеком мира и себя в мире и развития общества.

То, что я сказал, несомненно, имеет отношение к культуре. А точнее – к цивилизации, поскольку культур, как и языков, много, а цивилизация одна. И дальше постараюсь это показать.

Известно, что новоевропейская культура возникла как естественная форма замещения религиозного культа, как способ секуляризации иудейско-христианских представлений о творчестве Бога. Именно секуляризация подорвала авторитет Бога и церкви, поставив на их место авторитет разума. Но это не значит, что разум отказался от веры, а вера перестала нуждаться в разуме. Причиной се-

куляризации была не вера, а распущенность нравов среди католического духовенства, включая папский двор, вызвавшая широкое общественное движение за реформирование церковных догматов и обрядов. А также первые зримые успехи и достижения разума в области науки, производства, градостроительства, развития торговли и т. д. Однако все это происходило пять столетий назад, а сегодня мы живем в эпоху глобализации, когда старый спор об универсалиях приобрел новые формы. И рассматривается в наши дни в перспективе многообразия культур и обществ в контексте выбора некоего единого пути развития. «Культур много, а цивилизация одна».

Ученый наверняка сформулировал бы эту тему иначе – через соединительный союз «и»: культура и цивилизация. Журналист, по понятным причинам, тоже иначе, скорее, через разделительный союз «или». А у философа Мераба Мамардашвили это необычное словосочетание появилось в одном из его интервью 1989 года.

Появилось не случайно. Советский Союз распадался, и думающие люди, естественно, реагировали на происходящие события. «И вы, люди Запада, и мы, с Востока, – говорил в те годы М. М., выступая на международном симпозиуме в Париже, – находимся в одной исторической точке... сходной по своей природе с тем, что предъявили нам Первая и Вторая мировые войны... перед нами все та же опасность и та же ответственность». «У Европы нет возраста, она всегда в состоянии рождения. Именно так и следует рассматривать ее ответственность».

А теперь цитата из названного интервью «Другое небо». «Я считаю, – говорил М. М., – что контакт между культурами невозможен. А то, что я называю контактом, есть то, что условно можно назвать цивилизацией – не в смысле уничижительного различия цивилизации и культуры. Наоборот, я считаю, что культур много, а цивилизация – одна. Она же и есть контакт. А в строгом смысле между культурами контакта быть не может. Тем более с культурами, которые возникали не на оси мировых религий».

То есть «не может» в принципе до эпохи *Achsenzeit* («осевого времени»), как сказал бы Карл Ясперс, который придумал этот термин и использовал его в своей книге «Истоки истории и ее цель».

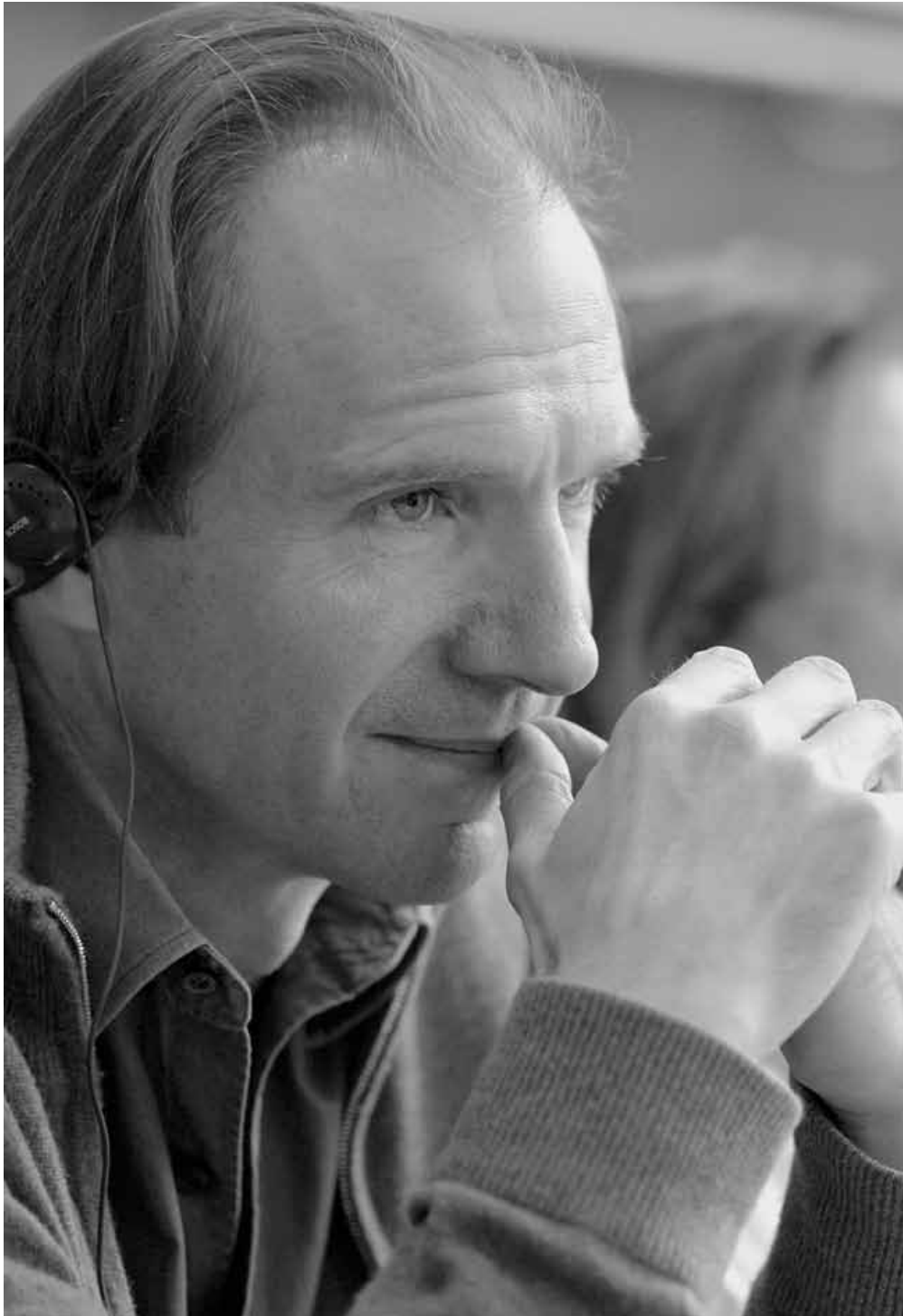
А после «осевого времени»? Тоже не может, потому что, соприкасаясь, входя в контакт, культуры начинают «искрить» подобно электрическим проводам под напряжением. С одной оговоркой – вначале о проводах: благодаря изобретенному в XIX веке трансформатору для преобразования тока и устройствам релейной защиты электроэнергетических систем провода, «передающие ток», не искрят.

То есть я хочу сказать, проводя эту параллель, что контакт между культурами возможен, когда появляются, назовем их так, социальные трансформаторы, выполняющие функцию цивилизующего начала. Решая разные задачи в разное время, европейцы (я имею в виду философов и физиков) добились фактически сходного цивилизационного результата. Изобрели две конструкции – социально-институциональную и физическую, которые позволяют сохранять и передавать в одном случае естественный свет разума, а в другом – искусственный свет, энергию, производимую с помощью техники.

Говорят, человеческая жизнь – тайна, а ее разгадка относится к эпохе «осевого времени» (VIII–II вв. до н.э.), и связана она с рождением человеческой личности, причем как в Европе, так и в Азии. А именно – с появлением индивидуально и личностно датируемых моральных учений (Конфуций и Лао-цзы в Китае), мировых религий (пророки в Палестине, Упанишады и Будда в Индии), греческих философов. Это было время, пишет Ханна Арендт в своей статье «Карл Ясперс: гражданин мира?», когда мифологии были отвергнуты или использованы как основания великих мировых религий с их представлением о едином трансцендентном Боге; когда человек открывает Бытие как целое, а себя – как радикально отличного от всех прочих существ; когда впервые человек становится вопросом для себя самого и начинает мыслить о мышлении. Короче говоря, когда люди изобретали новые индивидуальные формы жизни. Благодаря чему?

Благодаря открытой человеком способности трансцендировать свое природное, эмпирическое состояние, выходить за него.

«Выходить» не из себя, тогда, как известно, мы теряем ум, а выходить за природное состояние, сохраняя ум. Куда выходить? С эпохи «осевого времени» известно: к Богу, Благу, в Бесконечность, в Пусто-



Английский актёр Рэйф Файнс в Голицыно, 2013 год



Егор Гайдар.
На семинаре в Голицыно,
2005 год



Мануэль Фрага,
франкистский министр,
ставший почти демократом



Экс-глава
президентской администрации
Александр Волошин возглавлял
Совет Школы.
Голицыно 2012 год



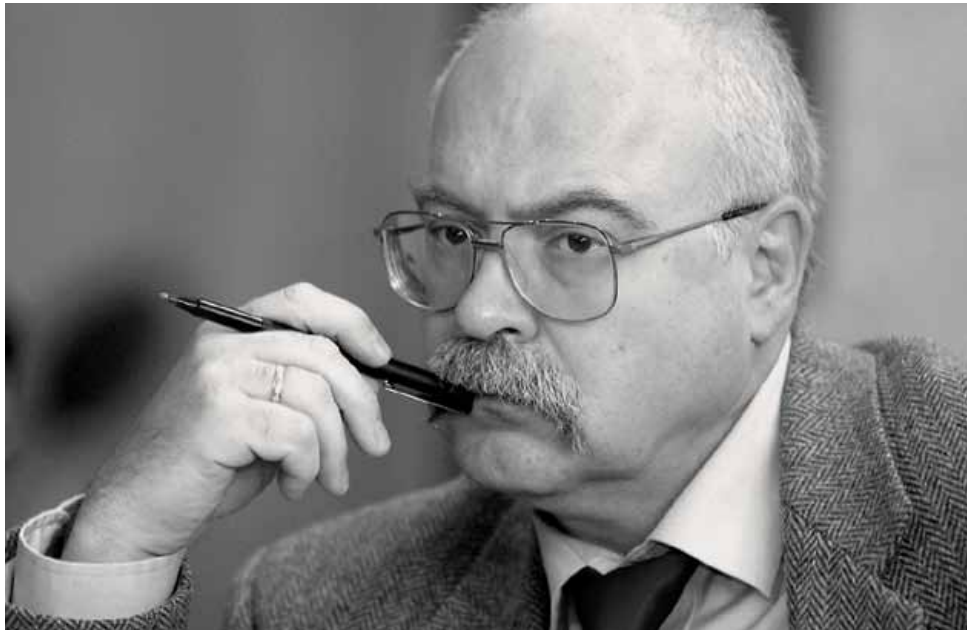
Франко-германский историк
Ютта Шеррер



Журналист
Александр Архангельский



Экономист
Владислав Иноземцев



Политолог Дмитрий Тренин



Журналист Михаил Фишман





Страсти по Школе.
Журналист Андрей Колесников (слева)
и лорд Роберт Скидельский (Великобритания)



Елена Немировская и Борис Джонсон – мэр Лондона, министр иностранных дел Великобритании и эксперт Школы. Голицыно, 2001 год



Михаил Ходорковский неоднократно выступал на семинарах Школы



Как англичанин англичанке: Джон Ллойд и Ширли Уильямс



Доминик Моизи и Диана Пинто (в центре)



Знаменитый
английский журналист
Квентин Пил (справа)



Политтехнолог
Игорь Минтусов



Политолог Алексей Салмин



Евгений Барабанов, коллега
и друг Юрия Сенокосова
с 1960-х годов



Александр Согомов,
первый модератор
семинаров Школы



Политик Владимир Рыжков



Бывший посол
Великобритании в России
сэр Родерик Лайн



Публицист
Максим Трудолюбов



Арсений Рогинский – главный человек в «Мемориале»,
любимец слушателей и экспертов Школы

ту. Для ответа на этот вопрос существуют сегодня разные понятия (в математике – пустое множество, в физике – пространство, в социологии – социальное пространство). То есть пустота необязательно негативна, в ней скрыты неожиданные возможности.

Итак, контакт – это акт понимания другого, совершаемый человеком лично. Это и есть цивилизующее начало, которое блокируется культурами по разным причинам и самыми разными способами, как это происходило в СССР, где большевики были уверены, что начинают историю с чистого листа.

Так что же заставляет, тем не менее, людей разных взглядов и вероисповеданий продолжать стремиться снова и снова к реализации в общественной жизни таких абстрактных понятий, как общественное благо, справедливость, свобода, демократия?

С одной стороны, и я уже об этом говорил, знание о несовершенстве человека как такового, его склонности к обману, зависти, коварству, насилию, а с другой – здравый смысл, поскольку все мы интуитивно принадлежим к человеческому роду, и нас не оставляет надежда на преодоление насилия не только личными усилиями, но и усилиями общества, когда возникают конфликты и кризисные ситуации.

Истина коммуникативна. Или можно сказать иначе: она находится там, где связь одного «я» с другими «я» происходит экзистенциально, на уровне чувств. И поэтому, хотя истина ни на чем не держится, это не значит, что она не объединяет людей. Иначе философы и теологи не писали бы свои трактаты, не создавались бы произведения искусства и литературы. А в наши дни сторонники разных истин и люди разных национальностей не стремились бы к преодолению конфликтов и к миру и не обсуждали на международных конгрессах и конференциях проблемы экономики, экологии, здравоохранения.

Повседневная наша жизнь далека от умопостигаемых идей, потому что естественный язык, на котором мы говорим, неизбежно склоняет нас искать ответы на волнующие вопросы в области видимого, слышимого, ощущаемого, а не в том, что и как мы действительно воспринимаем и понимаем.

Я обращаю на это внимание, чтобы еще раз вернуться к Ясперсу и напомнить, что основополагающим в его философии истории является термин «коммуникация», когда он говорит, что в сфере «экзистенциального» истина и коммуникация суть одно. И хочу подчеркнуть, что ясперсовская коммуникация и мамардашвилиевский контакт фактически тождественны по смыслу. Если учесть, что с истиной ничего не происходит. Это уже слова Мамардашвили. Истина, утверждал он, ни на чем не держится, но зато держит все остальное. А именно – непрерывность истории в ее цивилизационном, сознательном измерении. Сознательном в том смысле, что частица «со» в слове «сознание» указывает на измерение невидимого. Или, другими словами, на факт вербализованного человеком знания в состоянии впечатления, подобном озарению, в котором оно получено. И это справедливо не только для русского языка, но и для английского, для языков романской группы. Что явно указывает на некий первичный метафизический акт, конституирующий человека в качестве личности и одновременно выделяющий ее в виде специфического морального феномена в этике и культуре. То есть, когда моральный поступок не выводим напрямую из понятия морали, так как иначе было бы легко совершать моральные поступки. Но люди совершают их – не потому, что соотносят при этом слово «добро» и слово «зло» и решают, что добро обязательно победит зло. Совершают подобно библейскому Иову. Поскольку у добра, как и совести, нет причин. И поэтому знание о добре не передается механически, сколько бы мы ни повторяли, что надо «иметь совесть», надо «жить не по лжи», «нельзя убивать».

«Я знаю, что ничего не знаю», – так выразил когда-то Сократ, прекрасно владевший грамматикой, логикой и риторикой, свое мыслительное кредо. В этом сосредоточенном желании (поскольку здесь важен акцент на слове «знаю», что не знаю) удержать нечто, что открывается на границе знания о неизвестном, и заключена драма человеческой свободы. И разыгрывается она в зависимости от человеческих способностей и усилий к творческому, созидательному существованию. Это и есть цивилизация. Мыслью и словом человек тво-

рит мир и на это особенно важно и нужно обращать внимание в эпоху глобального кризиса.

Человечество – это коллективное мифологическое инерционное тело, которое поглощает вспышки истории, говорил Мераб Мамардашвили. А наши акты понимания следует рассматривать как момент истории, как контакт, совершаемый лично. И благодаря этому мы вступаем в ее непрерывность. Это и есть некий длящийся в долгом времени контакт, который можно назвать цивилизацией.

А это значит, что духовное и интеллектуальное общение между людьми неизбежно. Только общаясь и сознавая себя гражданами, мы начинаем жить в цивилизованном мире, или, другими словами, в гражданском обществе, которое сегодня уже не имеет границ. А если они есть, то условны, благодаря появившемуся Интернету и пространству безграничной коммуникации.

Гражданское общество и гражданская нация, как и империя, однажды появившись как социокультурные феномены и понятия, продолжают существовать. Идея «империи» реализуется в наши дни через науку и бизнес (без границ, глобально). Это естественный процесс, как и развитие гражданского общества. Проблема модернизирующихся, развивающихся стран, включая Россию – как войти в этот глобальный процесс «перевода» гражданских чувств на язык рационального понимания универсальных ценностей.

МОЖНО ЛИ ЗНАТЬ ТО, ЧЕМУ НЕ УЧИЛСЯ...

Безусловно, это текст для медленного чтения, long read. Такое выступление, повторю уже сказанное, необычно для форума любого типа. Но как важно вскрыть второй и третий слой проблемы, отступив в логике изложения на несколько шагов назад во всеобщую историю и в историю идей. И выйти на блистательную метафору гражданского общества как «империи», учитывая время, когда это было сказано.

Время нарастающего популизма и национализма. Сейчас, говорила, выступая на втором Берлинском форуме Катрин Лалюмьер, существует много стран, которые поражены популизмом. И много политических лидеров, которые играют на этом. Да, они могут выигрывать выборы, референдумы и полагают, что могут делать всё и не нести ответственности. «В этой ситуации настоящему и искреннему демократу тяжело идти против “воли народа”. Что же делать? Как и в других подобных случаях, противостоять инфекции, вылечить болезнь можно только с помощью просвещения и взывания к разуму. Просвещение, просвещение и еще раз просвещение! Без просвещения мы будем безоружны и не сможем противостоять той демагогии, тому популизму, что нарастают сегодня в наших странах», – говорила Лалюмьер.

Выйдя из «напуганного» поколения, Сенокосов и Немировская, в том числе и с помощью своих идей, издательских проектов и Школы, преодолевали страх генерации, стоявшей между «поротыми» и «непоротыми», словно бы рождаясь заново, выдавливая из себя конформизм и пассивное восприятие реальности. Ю. П. не случайно в своей книге «Власть как проблема» цитировал Владимира Высоцкого: «И еще будем долго / огни принимать за пожары мы. Будет долго казаться зловещим / нам скрип сапогов. / Про войну будут детские игры / с названьями старыми. / И людей будем долго делить / на своих и врагов». Ведь, действительно, после этого трудно стать и быть свободным человеком. Сенокосов пояснял: «Моему по-

колению еще предстояло родиться, чтобы появилась возможность восстановления этических, моральных основ нашей жизни».

И то же самое происходило в это время с поколением послевоенных немцев. Ханс-Магнус Энценсбергер старше, он из поколения Дарендорфа-Геллнера, застал войну подростком, успел побывать в Гитлерюгенде, а ощущения – схожие. В начале 1990-х он писал: «Случайно родившись здесь, в Германии, я и по прошествии пятидесяти лет вижу себя закутанным в одеяло, сидящим на корточках в подвале. Я и сегодня могу отличить лай зениток от визга бомбы, падающей с неба...». Энценсбергер видит в «ни в чем не повинных мирных гражданах» социальную базу диктатур: «Без восторженной поддержки этих людей нацисты никогда не захватили бы власть. Только слепцы могут считать, что это верно лишь в отношении немцев»...

Я много раз наблюдал за тем, как мыслит вслух Сенокосов, иногда обхватывая голову двумя руками и опираясь локтями о круглый стол в гостиной своего дома. Это всегда гипертекст с множеством сносок, историко-культурных примечаний, вставных глав и лирических отступлений. Но повествование всегда возвращается к своему основному «стволу», а вывод вдруг становится прозрачным и обоснованным.

Вот почему, например, Мераб Мамардашвили говорил о том, что «свобода – это феномен, который имеет место там, где нет никакого выбора. Свободой является нечто, что в себе самом содержит необходимость. Нечто, что является необходимостью самого себя, и есть свобода»? Как расшифровать эту парадоксальную мысль? И какое отношение такое понимание свободы имеет к Школе?

Сенокосов рассуждает так. После всех этих историй с КГБ, обыском и допросами и острого ощущения своей невинности и потому неподотчетности «органам» у него исчез страх. Вернее, «страх» не совсем здесь точное слово, исчезло чувство вины. «Это было вроде акме, ум перевернулся. Я стал думать: А зачем я сюда вообще пришел? Почему я должен отвечать на вопросы этим людям, если я не виноват?.. Сейчас я точно знаю про “разрешено все, что не запрещено”. Запрещено воровать, убивать, врать... А разрешено – жить свободно. Свобода и жизнь. Да, у любого человека всегда есть свобода выбора, например, стать чиновником, но тогда он попадает в

зависимость от правил, от начальства, от идеологии, от своеволия. И, конечно, от закона, который он должен соблюдать и неукоснительно выполнять, даже если закон принят вопреки здравому смыслу. То есть получается, что человек, даже в тоталитарной системе, может быть свободен в выборе, но он зависим. В этом смысле и в бериевских шарашках люди были хотя и свободны, но зависимы. А независимость дают только работающие общественные институты, ее обеспечивающие».

Вот эта формула – «свобода плюс независимость плюс институционализация этого состояния» – и есть описание того, что Мамардашвили определял как «нечто, что в себе самом содержит необходимость».

«Когда мы начинали Школу, нам это было еще не понятно, – говорит Ю. П., – нам просто было интересно включиться в процесс. Это была своего рода игра». Не поняли более высокого значения Школы и те в России, кто присоединился к ней как эксперт или просто как часть ее интеллектуального бульона. Многим состоятельным людям с либеральными взглядами был любопытен замысел Школы, были интересны иностранные эксперты как собеседники и носители идей. Но их собственное некритическое отношение к авторитарной модернизации в стране первых западных экспертов Московской школы политических исследований неприятно удивляло.

Основатели МШПИ сейчас считают, что всех тогда интересовали новые идеи, тем более те, которые высказывались недоступными ранее западными учеными. А западным экспертам была интересна новая, молодая, жадная до всего российская аудитория.

Накал и масштаб самых первых семинаров, говорит Лена, сегодня повторить невозможно: «Собрать этих экспертов в одном месте в Подмоскowie сегодня было бы просто немыслимо. И не только потому, что так вот сразу, под одной крышей, оказались Каррер д'Анкосс, Геллнер, Хоскинг, Моизи, Пинто, Розанваллон, но и потому, что невозможно вернуть то напряжение и страстное желание возвращения России в европейское пространство. Это желание воссоединения, эта надежда на взаимное возвращение и общее будущее тогда ощущались с обеих сторон».

И дальше Лена говорит о возникшей проблеме: «Разрыв культур обнаружился сразу. Мы все еще пребывали в перестройке, так как было важно выйти в публичное пространство. («Перестройка – это боль, крик, отчаяние, – добавляет Юрий Петрович. – Мы так и застряли в этой “освободительной” борьбе, а надо было двигаться вперед».) А дальше?.. Никто об этом особенно не думал, – продолжает Лена. – Да, после перестройки остались, например, выборы. Но очень быстро выборы захватили социологи и политтехнологи. И все стали играть в деньги, которых при социализме как института не существовало. Даже интеллектуалы, пришедшие в бизнес, уровня Кахи Бендукидзе, не до конца понимали, что главное – это независимые институты (см. идею соединения свободы и независимости и их институционализации. – А.К.), не понимали значения прав человека.

Поэтому не случайно мы почти никогда не могли получить российские деньги. Не потому, что те, у кого они были, боялись, во всяком случае, в 1990-е годы – это от непонимания. Прежде всего, от непонимания феномена независимости. Ведь и до оппозиции надо дорасти. А чтобы дорасти, важно понимать, что необходима конкуренция, независимая от власти.

Вот что значит жить в отсутствие публичной культуры, на кухнях, не зная, как может быть иначе устроена жизнь. Не понимая, что тот же Запад, к которому тогда жадно прислушивались, устроен не для счастья и комфорта. И тем не менее формула “все равны перед законом” там работает и общественные институты независимы и эффективны. А из этого рождаются достоинство и доверие, причем прагматически понимаемые как грамота жизни».

«Во время перестройки мы убедились, – говорит Ю. П., – что реальная история – это неизбежное проявление и выход наружу всего, что есть в человеке: его глупости и ума, жестокости и доброты, хитрости и обмана, подозрительности и открытости. И фактически согласились, что всему этому (борьбе страстей, удовлетворению честолюбия, амбиций, азарта) должно быть отведено место на страницах независимой прессы, в средствах массовой коммуникации, в стенах парламента, в сфере предпринимательства, искусства, ли-

тературы. Однако в условиях наступившего экономического и политического хаоса согласились с этим, естественно, не все, включая сотрудников спецслужб. И именно их восприятие происходивших в 1990-е годы перемен стало причиной нараставшего с приходом к власти Владимира Путина враждебного отношения к демократам внутри страны и к либеральному Западу в целом. Раньше я не придавал этому значения, считая, что поскольку в мире все меняется, то рано или поздно начавшиеся перемены сыграют свою положительную роль и в России. Однако началась “охота на ведьм” и стало понятно, что этимология и семантика некоторых слов в русской культуре тоже имеют значение. Тем более, в контексте поисков культурного кода страны с участием самого президента. В ходе этих поисков наряду с другими репрессивными законами Госдумой как раз и был принят федеральный закон о “регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента”. А затем на основании этого закона, в том числе и наша Школа одной из первых была внесена министерством юстиции в соответствующий реестр, потому что она формирует общественное мнение, как было сказано официально в одной из телепередач, с целью изменения государственного строя.

Меня в этой связи заинтересовало словосочетание “с целью изменения”. Раньше я не обращал внимания на то, что в европейских языках, скажем, в английском, слова “изменение” и “измена” абсолютно разные. А в русском языке начиная с эпохи Ивана Грозного слово “измена”, подобно 25 кадру в рекламе, и сегодня воспринимается властью как предательство, измена государству.

Невольно вспоминаешь в этой связи судьбу Коперника и Галилея, изменивших существовавшую до них картину мира и преследуемых за это. Очевидно, российское руководство в XXI веке решило снова вернуться к тем временам, полагая, что таким и должен быть культурный код страны».

Известно, как Маркс ответил на вопрос анкеты о любимом занятии: «Рыться в книгах». Для Сенокосова эта сфера шире – рыться в книгах и журналах, издавать книги и журналы. Для начала соби-

рать – везде и всюду. Например, из Праги после работы в «ПМС» Юрий Петрович привез отснятые в пражской славянской библиотеке фотокопии книг Семена Франка. Это человек-«сканер». Он не случайно работал во ФБОНе. Ему было хорошо знаком и близок труд библиографа. Работая под началом Арсения Гулыги, секретарствуя в его семинаре по методологии истории, Ю. П. составил библиографию по теме, которая его интересовала больше всего – философии истории. Она вышла в 1969 году в сборнике «Философские проблемы исторической науки». Авторами сборника были Арсений Гулыга, Арон Гуревич, Евгений Плимак, Анатолий Ракитов, Юрий Левада, Пиама Гайденок, Игорь Кон – все сплошь звезды того времени.

Попытка издания журнала в перестроечное время, участие в издании приложения к «Вопросам философии» – все это следствие все той же страсти – рыться в книгах. Школа дала возможность Сенокосову развернуться и издавать почти все, что он хотел. И круг книг совпадал с кругом экспертов МШПИ.

Что только он не издавал – даже «памятку» для гражданина о том, что существует Европейский суд по правам человека и туда можно обратиться за помощью; это крошечная книжка-гармошка, очень удобная и практичная. Она пользовалась большим спросом и была переиздана выпускниками школы в нескольких регионах.

Первый номер журнала, который Юрий Сенокосов редактирует уже более двух десятков лет, вышел в 1995 году. Назывался он «Вестник Московской школы политических исследований». Впоследствии это издание превратилось в журнал «Общая тетрадь». В предисловии к первому номеру его редактор написал: «В одном из своих поэтических посланий Гораций говорит: чтобы зарезать человека, разбойник встает до света. Так неужели ты не проснешься, чтобы уберечь себя? Стоит ли уподобляться глупцу, ждущему, когда мимо него протечет вся река, чтобы перейти на другой берег? Не лучше ли немедленно начать упорядочивать свою жизнь, нежели ждать, пока она кончится. Тот, кто начал, сделал уже половину дела. Дерзни мыслить. Sapere aude! Решись!»

Дерзость, усилие мысли – и девиз Школы, и смысл ее работы. Далее в том же программном предисловии: «Можно ли знать то, чему

не учился и о чем не думал? О государстве, которое может вызывать уважение своей силой, а не ненависть своим произволом. О власти, достигающей поставленных целей не из страха или недоверия к собственному народу, а из знания того, как сохранить общественное спокойствие. О необходимости свободы – во всех случаях жизни – публично пользоваться своим умом».

В России все получилось ровно наоборот...

Текстам первого номера журнала, объединенным темой «Трансформирующиеся Россия и Запад», было предпослано обращение Эрнеста Геллнера: «Интеллектуальная жизнь нуждается в соответствующей инфраструктуре, среде. В XVIII веке возник салон, тесно связанный с культурой Просвещения; его знаменитая “Энциклопедия” неотделима от собраний по четвергам у барона Гольбаха. Затем на помощь салону пришла усадьба... В XX веке усадьба частично утратила свое значение. На смену ей пришла формальная конференция, финансируемая фондом, а не личными средствами. Сам салон начал функционировать на более узкой экономической основе... Для меня ничто лучше не воплощает того интеллектуального бурления, которое сопровождало и пережило перестройку, чем знаменитый салон Лены Немировской и Юры Сенокосова, расположенный в сравнительно скромной квартире у Москвы-реки... Внутри квартиры можно было обсуждать политические, философские и эстетические проблемы... Когда, наконец, для этого появились условия, вышеупомянутые бесценные разговоры смогли получить публичную форму и выразиться в серии конференций, круглых столов и семинаров».

Уже на семинаре в июле 1994-го, о чем свидетельствуют материалы этого же первого номера журнала, Доминик Моизи, поддержавший идею Школы с самого начала, поставил главные европейские вопросы с такой точностью, что их можно было бы воспроизвести и 21 год спустя на первом Берлинском форуме. Прежде с европейской идентичностью было проще: «Сегодняшняя Европа – это во многом продукт советской угрозы. Раньше было известно, кто мы такие: мы определяли это в негативных понятиях, поскольку прекрасно знали, кто был наш враг». С новым самоопределением Европы в постсоветских обстоятельствах возникли естественные сложности. И об

одной из них, заложивших мины под интеграцию России в Европу, Моизи сказал прямо: «Поскольку я не дипломат, предлагаю обсудить такую постановку вопроса. Мы вам открыто говорим: “Да, вы в Европе. Да, вы – необходимый компонент нашего культурного целого. Но мы не хотим вашего членства ни в Европейском союзе, ни в НАТО. Нам необходимо найти другие способы принять вас как европейскую державу”». Эти способы не были найдены за последующие десятилетия. Но надо сказать, что и сама Россия не помогала их искать...

В конце 1999 года в Стокгольме состоялся семинар в честь Лены Немировской под названием «Русские корни российской демократии». С докладом выступил генеральный секретарь Совета Европы Даниэль Таршис. У демократии в России есть своя, не заимствованная корневая система: первое – институциональное наследие средневековой России – вече, Земский собор; второе – русская политическая мысль, Таршис упоминает Курбского, Посошкова, Голицына, Татищева; третье – реформистские проекты второй половины XIX – начала XX века; четвертое – корпус диссидентских публикаций; пятое – даже сама коммунистическая традиция, идея свободы, «оттепель». «Какая-то идея или институт хороши или плохи не потому, что они возникли в той или иной стране, – говорил Таршис. – Поспешные конституционные проекты появлялись в России точно так же, как и в Швеции, Швейцарии или Свазиленде, и в любом случае у большинства таких проектов – сложная родословная. Но тем не менее для страны, которая пытается укрепить свои демократические институты и процедуры, важна возможность опираться на собственную историю. Поэтому, глядя в прошлое России, давайте видеть не только автократические, но и демократические традиции».

Часть этой традиции – если не ее корни, так крона в наши дни, это Школа Немировской и Сенокосова, национальный фонд «Русское либеральное наследие» Алексея Кара-Мурзы, научный фонд «Либеральная миссия» Евгения Ясина.

Люди-ключи:

Elective Affinity, «Избирательное сродство»

Лена подводит промежуточный итог: «За двадцать лет я, наконец, сама закончила Школу». А до этого были двадцать лет другой Школы – Мераба и Юры: «Они научили меня различать вещи на индивидуальном уровне, Школа – на общественном. И – не месту я принадлежу». А потом откуда-то приносит клочок бумаги, на котором знакомым мне почерком одного из ключевых школьных экспертов, лорда Роберта Скидельского, написано: «Elective Affinity. Goethe from Robert Skidelsky».

Это о том, на чем строится Школа – «избирательная привязанность» или, как у нас переводят название романа Иоганна Вольфганга Гете – «Избирательное сродство». Не совсем в том смысле, который имел в виду великий немец, но само по себе сочетание слов очень точное. Те, кто попадали в силовое поле Школы, как правило, за редкими исключениями навсегда оставались в нем, «избирательно сроднившись».

Собственно, экспертов это тоже касается – сам Скидельский входил в здание пансионата «Голицыно», где до неприятностей со статусом иностранного агента МШПИ проводила почти все московские семинары, как в дом родной. Лорд, сам убежденный кейнсианец, профессор emeritus Уорвика, блестящий полемист, неутомимый публицист и автор трехтомной биографии Джона Мейнарда Кейнса (перевод на русский в 2005 году издал Юрий Сенокосов), за которую ему был присвоен титул пэра – со Школой уже много лет. Он – часть этого «избирательного сродства» наряду с теми гигантами, которые были в ней в первые годы (последним из них ушел из жизни в 2009 году Ральф Дарендорф), и ключевыми фигурами, в разные годы содействовавшими Школе интеллектуально и организационно, с Михаэлем Сульманом, Джоном Ллойдом, Иваном Крастевым и многими другими.

Как раз о способности Лены создать правильную атмосферу для ведущих мировых экспертов очень точно сказал однажды Сульман, выступая в Стокгольме в 2006 году на церемонии вручения Немировской премии Фонда Хиросимы ради мира и культуры: «Возникает вопрос: что заставляет всех этих занятых людей приезжать и тратить время, иногда в не слишком комфортабельных условиях? (Вспоминаю летнюю сессию в Голицыно, когда безжалостное солнце раскаляло температуру в аудитории до условий сауны!) Причин много. Возможность и удовольствие встретиться с особенными молодыми русскими – одна из них. Но решающий фактор – присущая Лене неодолимая сила убеждения в том, что для тебя это важно, важно внести свой вклад в развитие знаний о политической истории, социальной системе и экономическом развитии России и остального мира; что такое знание, возникающее на основе применения метода диалога, важно для будущего России».

Лорд Скидельский был одной из ключевых фигур на приеме по случаю 20-летия Школы в Палате общин английского парламента (до того в Палате лордов была дискуссия с участием Дэвида Милибэнда), где царствовал подвижный и сверхкоммуникабельный спикер Палаты общин Джон Беркоу. А днем раньше в книжном магазине у Вестминстера я купил книгу Роберта и Эдварда Скидельских (сын лорда активно сотрудничал со Школой и был в начале нулевых соиздателем курируемого МШПИ журнала «Russia on Russia» – «Россия о России») «How much is enough». Тогда я еще не знал, что более органичная одежда для лорда Скидельского – не костюм и галстук, а джинсы и кроссовки, что он обожает дискуссии в перерывах между заседаниями Школы и постоянно носит с собой ноутбук, с которым сидит в рембрандтовских сумерках бара подмосковного пансионата «Голицыно». Точнее, сидел. Потому что после объявления МШПИ иностранным агентом ключевая российская база Школы оказалась для нее недоступной, несмотря на многолетнюю симпатию и поддержку администрации пансионата.

Самый первый семинар, как мы помним, прошел в апреле 1993-го в «Лесных далях», доме отдыха Управления делами президента, ранее одной из вотчин Совета министров СССР. Именно там было за-

регистрировано то первое взаимное притяжение потрясающих экспертов и замечательных слушателей. Место довольно скромное, хотя и географически, и функционально «понтное» – здесь потом любители собираться члены СВОПа, Совета по внешней и оборонной политике. И, кстати, в организаторах первого семинара числились не только послы Британии и Франции, но и российский МИД. Именно под его эгидой начиналась биография будущего иностранного агента. Но уже со второго семинара началась история голицынских семинаров – более скромных по условиям проживания (хотя главный корпус «Лесных далей» в те годы был лишь немногим лучше), но в большей степени удобных для школьных администраторов, заинтересованных к тому же в постоянной семинарской базе. И тогда же среди тех, кто первым поддержал Школу вместе с генеральным секретарем Совета Европы, был Джордж Сорос.

Я и сам начал сотрудничать в качестве эксперта с МШПИ лишь в 2010 году, но в «Голицыно» бывал бесчисленное множество раз, и всегда – удачно, однажды выступив в полной, точнее, подсвеченной светом ноутбуков и телефонов, темноте – кто-то специально или случайно отключил в пансионате электричество. А один раз прожил целый семинар прямо здесь, вынужденно сбежав от ремонта в своей квартире. Единжды попал в одну панель с британским актером Рэйфом Файнсом, как-то – с писателем Иэном Макьюэном. Такой «пир духа» могли устроить только Лена с Юрой. Каждый заход в столовую в любой из приездов означал неожиданную многоязычную компанию и раскрытые объятия встававшего из-за стола Юрия Петровича. Так неуклюжий советский уклад пансионата становился почти родным...

Те же Файнс и Макьюэн, как и все англоязычные гости Школы, говорят по-русски голосом лучших российских переводчиков, среди которых был, например, Виктор Гольшев, переведший километры англо-американской прозы. Или покойный ныне поэт и переводчик Григорий Дашевский. Марк Дадыан, Михаил Загот, Наталья Петрова – переводчики с английского языка, Геннадий Киселев – с итальянского, Александр Казачков – с испанского годами работают со Школой, они уже часть «экосистемы» Школы, и многим экспертам

с ними привычно и комфортно. Хотя с каждым годом на семинарах все больше слушателей, которые сидят в залах и аудиториях без наушников.

Первый человек, который был мне представлен в первый же приезд в «Голицыно» – Тоби Гати. Это было очень эффектно – едва я вошел в этот совковый вестибюль, как увидел Лену, оживленно беседовавшую с брюнеткой в очках. «Познакомьтесь – это бывшая советница Клинтона». Хорошее начало.

Потом Тоби, работавшая во времена Клинтона еще и замом госсекретаря, подарит мне книгу своего мужа Чарльза Гати, профессора Университета Джона Гопкинса о Збигневе Бжезинском. С ней мы окажемся в дни празднования 20-летия Школы в Лондоне в компании Владимира Плигина, через руки которого прошло все репрессивное путинское законодательство. Надо отдать ему должное – он пытался помогать МШПИ, но безуспешно. А когда в отношении Школы начали процедуру объявления иностранным агентом, в пикантном положении почувствовала себя и выпускница МШПИ Ирина Яровая, депутат и пассионария новой русской реакции. А может быть, и нет.

В одном из давних интервью Тоби Гати объяснила принципиальную разницу между американским и российским политическими классами, показателем которой является свобода СМИ и их влияние: «Стоит еще сказать о “факторе стыда”. В Америке мы называем его “тестом Вашингтон пост”. Если ты хоть немного сомневаешься в предстоящей сделке, спроси себя, что ты станешь делать, если завтра о твоём поступке напишет “Вашингтон пост”. Люди не любят, чтобы об их делишках писали газеты. Если в стране нет традиции журналистских расследований, то многие махинации богатых или влиятельных людей могут сойти им с рук. Вот почему так полезна свободная пресса, в которой нельзя купить хорошие или плохие статьи. Огласки недостойных поступков побаиваются почти все».

В России этой огласки не боится никто. И аналогов издания, статьи которого имели бы последствия для тех, кто находится на поли-

тическом верху, тоже нет. Другая политическая культура, выращенная, впрочем, искусственно за последние полтора десятка лет.

Однажды я сообщил Тоби Гати, что прочитал мемуары Генри Киссинджера, и она посмотрела на меня, как на идиота – это три толстенных тома; этот взгляд выразил все ее отношение к человеку-символу Realpolitik. Киссинджер тоже выступал в Школе – после колебаний и звонков Лене – боялся обидеть Путина (еще в те времена, когда совсем уж прямых репрессий против гражданского общества не было). Сам факт этого выступления спровоцировал у недоброжелателей МШПИ волну обвинений конспирологического свойства.

Был экспертом Школы и Бжезинский, правда, не в Голицыно, но в рамках мероприятия МШПИ. И подарил свою книгу с такой дарственной надписью: «Надеюсь, мы уже пережили время, когда мой автограф приходится вырывать». Бжезинскому рассказали историю с очень советским подтекстом: из переданной от него в 1971 году книги «Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era» («Между двумя эпохами: роль Америки в технотронную эру») с дарственной надписью двум молодым людям Кормеру и Сенокосову пришлось вырвать страницу с его автографом – Кормер ждал в то время обысков и ареста, и книга американского «ястреба» могла стать поводом для серьезного уголовного преследования. Кстати, Бжезинский выступал на 10-летию Школы, как раз тогда, когда на юбилей пришло комплиментарное поздравление от президента России Владимира Путина.

Лена Немировская привлекла в Школу и еще одну звезду – Ричарда Пайпса. И это тоже история ее всепобеждающей харизмы и почти «тиранического» обаяния. Выдающийся историк принял ее в Гарварде и тут же начал задаваться вопросом, почему его книги, переведенные на русский, не вызвали в России реакции? «Дик, – сказала ему Лена, – а зачем вам какие-то критики в России, когда перед вами сидит человек, который читал ваши книги, рискуя быть арестованным за их хранение и чтение; вам нужно еще большее признание?» Через два месяца он приехал и делал это потом не один раз, а его двухтомный труд о Петре Струве был издан Школой в 2001 году. Выступая на школьном семинаре в 2003 году, Пайпс закончил свое выступле-

ние так: «Российский либерализм был намного слабее, чем большевизм и реакционный консерватизм. Причина этого в том, что либерализм может преуспеть только тогда, когда он растет снизу. В России же давление снизу было недостаточно сильным, так как не было гражданского общества. На мой взгляд, эта проблема актуальна для России и сегодня». А в 2010 году пронизательно, развивая одну из ключевых своих идей, рассуждал о том, что свобода без собственности и ее абсолютной защиты невозможна: «Первый раз я приехал в Советский Союз в 1957 году. Меня поразило тогда отсутствие ощущения личности в людях, которых я встречал. Мне казалось, что это связано с тем, что у них нет собственности».

...Лена уходит из гостиной в соседнюю комнату и приносит легендарное пальто, в котором ее пытался арестовать милиционер на Калининском (теперь Новорарбатском) мосту. Длинное, чуть ли не в пол. Черное в бело-желтоватую полоску – польское, но привезенное из Лондона – это в те-то годы. Лена собирается уходить по своим бесконечным делам, мы остаемся с Юрием Петровичем договаривать – пальто, в которое она одета сейчас, очень похоже на то, историческое. А еще – красные очки и красные часы, плюс щегольская полосатая шапка. Молодость и вызов не уходят из этой женщины никогда. Тридцать-тридцать пять лет назад она еще и волосы красила в зеленый цвет. Натурально – зеленкой.

Это была демонстрация свободы. Той самой, которая, в логике Сенокосова, работает только в сочетании с независимостью.

Михаэль Сульман – носитель поразительно мягкого (как и сами манеры этого высокого, красивого и – есть такое слово – «породистого» мужчины) русского языка. Настоящего русского, на котором теперь уже не говорят сами русские. Познакомившись с дочерью Михаэля Эвой, я рассказал ей об этом свойстве ее отца, и она, не говорящая по-русски, подтвердила: да, утверждают, что у него слишком правильный язык. Михаэль Сульман, бывший исполнительный директор Нобелевского фонда, ушедший в отставку по возрасту, говорит по-русски без акцента, но что-то выдает в нем иностранца –

манеры, уважаемая неторопливость и тот самый грамматически и лексически правильный, аристократический русский.

Аристократический – правильное слово, потому что мать Сульмана – русская, из дворянского рода, урожденная Зинаида Яроцкая, наследница поместья в Крыму. На вопрос, не хотел бы он вернуть себе это поместье (он задавался до аннексии Россией Крыма), Сульман ответил, что едва справляется с газоном на своем участке под Стокгольмом.

Кстати, этот самый участок – на королевских землях. Его хозяин имеет право на проживание здесь даже после отставки, поскольку он возглавлял исполнительную дирекцию Нобелевского фонда. Это очень высокий пост, именно что королевского масштаба. «Поместье» на королевских землях, по-шведски идилических, представляет собой обыкновенную деревянную, как у нас бы сказали, «дачу». Единственная заметная особенность – моторная лодка, стоящая во дворе, который даже забором не огорожен. Внук помощника и душеприказчика Альфреда Нобеля Рагнара Сульмана, сын посла Швеции в СССР (в течение 17 лет, с 1947-го по 1964-й) Рольфа Сульмана, выпускник университета Упсалы, в течение почти двух десятилетий директор Нобелевского фонда сам суетится на кухне. В небольшой столовой накрыт стол с норвежским аквавитом цвета «камней в холодной воде», после ужина – крепкий чай в кабинете – дачная мебель и журнальный столик с *New York Review of Books*.

Член Шведской Академии наук и член совета директоров Стокгольмского института переходной экономики несколько лет – с 1951-го по 1954-й – учился в знаменитой 110-й московской школе (вместе с сыном маршала Буденного), учениками в которой кто только не был, от Алексея Баталова и Андрея Сахарова до Натана Эйдельмана и Андрея Синявского. Но в Сульмане, разумеется, не найти и следа советского – после 110-й школы отец посылал его учиться в интернат в Швецию. И почти московский мальчик стал шведом. Остался только этот поразительный бархатный русский язык.

Конечно, Швеция, а в Швеции – Сульман много дали Школе – и с точки зрения поддержки, и предоставления площадки, и интеллектуально, потому что Стокгольмская школа экономики и Стокголь-

мский институт переходной экономики – это серьезные учреждения, очень подходящие для партнерства с МШПИ.

Сине-желтый, почти аскетичный, какой-то почти старосоветский зал в Стокгольмской школе экономики – историческое место. Это изначально зал Стокгольмского студенческого союза, который был оккупирован студентами в революционном мае 1968 года. Сульман с юмором рассказывал слушателям Школы о событиях того времени: «К ним сюда даже приезжал тогдашний министр образования Улоф Пальме. Потом они решили, что их собственный дом – недостаточно героический объект и пытались, правда, безуспешно, оккупировать оперу». В Интернете даже можно найти фотографию: гораздо более спокойные, чем в Сорбонне, студенты, как будто на лекции сидят и слушают совсем молодого, улыбающегося Пальме. Слушают с интересом и, пожалуй, с уважением.

Скандинавия не исчерпывается в совете директоров Школы Михаэлем Сульманом. Есть еще один член совета, тоже говорящий по-шведски, – бывший посол Финляндии в России Рене Ньюберг. Его чуть кренящуюся, словно от балтийского ветра, стремительную фигуру можно увидеть на всех значимых интеллектуальных площадках мира. Он знает все и читал все. Его энергией заряжаются все, кто с ним общается, и каждый остается с ощущением исключительности – в том смысле, что только с ним этот безукоризненного аристократического вида человек разговаривал сугубо доверительно и эксклюзивно. Ну а русский язык его, несмотря на акцент, но совершенно не финский, тоже восхитителен и гибок, и этот язык как будто смотрит на себя со стороны – вот какой я великий и могучий. Шведский и финский были языками детства Ньюберга, как и немецкий – он закончил немецкую школу.

На визитке дипломата написано коротко и просто: Рене Ньюберг, посол. И изысканный рисуночек-заставка – человек в безукоризненном синем костюме, белой рубашке, с красным галстуком и в очках, читающий газету. Это и есть Рене Ньюберг. Он и правда читает все на свете: «Когда я работал в Москве, то на встречах иной раз спрашивал: а вы читали в сегодняшнем “Коммерсанте”?.. И что же – никто не читал. Только я». К слову, Ньюберг, который трудился послом Фин-

ляндии и в Германии, считает лучшей газетой *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. Это человек-стиль. Но это и человек-вкус.

В 1970-х Ньюберг работал сначала в посольстве Финляндии в Москве, а потом в генконсульстве в Ленинграде. Из посольства его едва не изгнали за то, что он дал ход письму Эрнста Неизвестного с просьбой к президенту Финляндии Урхо Калеви Кекконену о помощи в выезде из СССР. И вообще чересчур активно общался с неконформистами, особенно художниками – Краснопевцевым, Рабиным и другими. По-настоящему, по признанию самого Ньюберга, он начал понимать, что такое Советский Союз, только работая в Ленинграде, где продолжал совершенствовать свой русский.

Конечно, Рене Ньюбергу повезло со временем, когда он оказался послом Финляндии в Москве. Заканчивал же он свой посольский срок – вполне стандартный, четыре года – в 2004 году, когда в самом разгаре было первое дело Михаила Ходорковского.

Сульман и Ньюберг могли бы украсить любой совет директоров, не только МШПИ, – высокие, красивые мужчины-скандинавы, при этом с аристократической пластикой. В некотором смысле «соль земли русской», поскольку связаны с Россией языком и происхождением. Не только Сульман, но и Ньюберг имеет отношение к России: его мать – еврейка, родом из нашей империи. Рене написал книгу о своей семье, имевшую успех в Финляндии. И только начав копаться в истории семьи, узнал, что его двоюродный брат по материнской линии – не самый последний русский поэт Александр Кушнер. И когда Ньюберг работал в консульстве в Ленинграде, не зная друг друга, братья жили неподалеку.

В аристократичности и умении носить хорошие костюмы им не уступает всегда столь же элегантный и не менее высокий Эрнст Йорг фон Штудниц, над лицом которого работало время – несколько поколений старинного рода фон Штудницев. Работник немецкого посольства в СССР в очень специфическое и внушавшее оптимизм время – в 1969–1973 годах, посол Германии в России с 1995 по 2002 годы, председатель Германо-русского форума с 2003 года, человек, который всю жизнь, а особенно в постсоветское время, профес-

сионально наводил мосты. За что и получил, в частности, престижную премию Фонда Егора Гайдара в номинации «За выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей». О России и Германии он однажды на семинаре Школы сказал очень точно: «Наши страны переживают сходные трудности в решении вопроса о новых границах, появившихся после поражения Германии и распада СССР. Послевоенная история Германии свидетельствует о том, что идеи о немецком господстве развеялись как дым. Так же и Россия переживает трудный переходный период после развала Советского Союза. И Германия, и Россия потеряли огромные территории, исконно принадлежавшие им. Но события XX века научили нас, что борьба за пересмотр границ неизбежно ведет к войнам и невыносимым людским потерям. Требовать возврата былого – путь тупиковый. Современная жизнь и совместные усилия западноевропейских стран свидетельствуют, что границы все больше теряют свое значение, становясь лишь демаркационными линиями, отделяющими один административный округ от другого. Границы и паспорта уже не могут более препятствовать человеческому общению».

А еще его отличает способность задавать точные вопросы: «...под целью воспитания понимается обычно подготовка полезного члена общества. Однако не находится ли это в противоречии с постулатом свободы? Кто или что определяет сегодня полезность человека? Не экономика ли, которой необходима способная, высококвалифицированная рабочая сила, потому как это единственный способ выдержать конкуренцию? Вытекающие из этого требования к детям – уже в школе стремиться к успеху, чтобы выиграть борьбу за лучшие учебные места в вузе, а потом получить высокооплачиваемую работу – приводят с раннего детства к чрезмерному напряжению. Справедливо спросить, как сочетаются эти требования с воспитанием свободы, и не подавляет ли такая воспитательная система свободу? Конечно, победители этой часто безжалостной школьной и университетской конкуренции достигают высокого служебного положения и соответственно приобретают такой потребительский статус, который воспринимается как свобода. Но настоящая ли

это свобода, если большинство претендентов сходят с дистанции, а экономической свободой довольствуется лишь меньшинство? Действительно ли общество заинтересовано посредством образовательной системы выдвинуть ограниченное число лиц на лидирующие позиции, а подавляющее большинство людей передать на попечение социальному государству? Возникает вопрос о более сбалансированной системе воспитания и образования, которая лучше соответствовала бы идеалам свободы».

Альваро Хиль-Роблес тоже представитель совета Школы, только не директоров, а попечительского. Как Скидельский. Есть и его книга, которую издала МШПИ. С характерным названием: «Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмана)». Хиль-Роблес был уполномоченным по правам человека в Испании (буквально – «защитником испанского народа», *Defensor del Pueblo de España*), автором национального закона об омбудсманах, затем – первым комиссаром Совета Европы по правам человека, причем на протяжении семи «библейских» лет. Это были очень трудные годы в трудное время, поэтому он знает о жизни что-то такое, чего не знают другие. Что не скажешь по его очень мирному профессорскому облику и профессорским же пиджакам и галстукам изысканных болотных или коричневых тонов.

Когда у Школы начались проблемы в России, Альваро Хиль-Роблес знал, что делать – помогать просвещать. И Школа начала проводить семинары в Испании. На севере, в Сеговии, мистическом вместилище расходящихся узких средневековых улиц, городе римского акведука и крепости Алькасар. И на юге, в Андалусии, в университетском городе Баэза, где переводчик с испанского, лучший интерпретатор слов Хиль-Роблеса и его русский голос Александр Казачков учил окружающих произносить правильным образом слово «херес» и заказывать его же, употребляя другое, понятное местным слово «фино».

На одном из давних семинаров в Голицыно, которое стало важным местом для Хиль-Роблеса, сына правого политика, причем недостаточно правого, чтобы генерал Франко мирился с его присут-

ствием в Испании, и недостаточно левого, чтобы не быть по сути противником республиканцев, но противником не военным, а политическим, бывший омбудсмен сказал: «Власть и мораль – это антагонистические термины. Как вода и масло, они не смешиваются».

За этой фразой стоит длинная история человека, который родился не в родной Испании, а в Лиссабоне. Потому что его отец Хосе Мария Хиль-Роблес, юрист, католический политик, основавший в 1933-м Испанскую конфедерацию независимых правых, но затем не ставший членом фаланги, жил в Португалии в эмиграции. И пойдя по отцовским стопам, пожив в эмиграции во Франции, посидев в тюрьме, став юристом, а в 36 лет – членом Конституционного суда Испании, Альваро Хиль-Роблес выбрал самую непростую дорогу – путь омбудсмана. После чего его едва ли не единственным другом остался только король Хуан Карлос (Хиль-Роблес-старший входил когда-то в совет при Хуане де Бурбоне, отце Хуана Карлоса).

Поэтому Альваро Хиль-Роблес, как определяет это Лена Немировская, «говорит о демократии поэтически страстно, как о призвании». А как о ней еще может рассуждать человек, который, по его же словам, «много работал с патологиями». И спасали его, омбудсмана, видевшего едва ли не каждый день последствия чудовищных проявлений темной стороны человеческой природы, да еще в те годы, когда некоторые части постсоветской Европы напоминали рассыпавшийся и подожженный пазл, юмор и оптимизм: «Мой оптимизм – оружие выживания». Да, говорит Хиль-Роблес, «ценности солидарности разрушены в Европе». Да, «власть и злоупотребления идут рука об руку». Но – «этому надо мешать!» «Демократия – это не только слова, это ежедневно поддерживаемая форма жизни».

В 1977 году 33-летний Альваро сдал в типографию книгу о феномене омбудсмана, о важности этого института для становления демократического общества. Но и теперь, когда автору, профессору крупнейшего испанского университета – мадридского Компултенсе, который он когда-то окончил, за 70, он продолжает эту ежедневную борьбу за демократию – поддерживая Школу.

В интервью Михаилу Фишману Хиль-Роблес рассказывал о своей работе в Чечне: «Комиссар представляет Совет Европы, Россия –

член Совета Европы. Я прежде всего брал на вооружение гуманитарный подход – защиту прав человека. Главное – как можно быстрее закончить вооруженный конфликт, а затем сделать все возможное для гражданского населения и жертв этого конфликта». И в этой связи о Кадырове-старшем, с которым он часами говорил «о разных вещах»: «Если мы с ним принадлежали бы к христианскому миру, я бы сказал, что это был большой гуманист».

А что сказать о нынешнем политическом режиме? Отвечая на этот вопрос, Альваро Хиль-Роблес выразил лишь свое отношение к закону о нежелательных организациях и деятельности того человека, который его подписал: «Политик, опирающийся на широкую поддержку, не нуждается в подобных законах. Напротив, он мог бы вести диалог с такими организациями, и это усиливало бы его как правителя».

Это мнение человека, который положил жизнь на становление института омбудсмана, народного защитника, защитника прав человека. Ценностей, которые почти ничего не значат в сегодняшней России. Типичный «иностранный агент». Друг Хуана Карлоса. И Сенкосова с Немировской.

Альваро Хиль-Роблес сидел в тюрьме. И посадил его туда (причем на Канарские острова), по его собственным словам, Мануэль Фрага Ирибарне, правая рука Франко, один из самых ярких политиков в окружении каудильо. Потом, при подписании в 1977 году Пактов Монклоа, Хиль-Роблес и Фрага подали друг другу руки. А спустя годы, несколько смущаясь, Лена сказала Альваро, что Фрага, тогда в четвертый раз избранный президентом регионального правительства Галисии (всего он провел на этом посту 15 лет, с 1990-го по 2005-й), мало того, что стал экспертом Школы, еще и пригласил ее слушателей в Сантьяго-де-Компостела. Так же, как и Хиль-Роблес, блестяще образованный, этот, по выражению Юрия Петровича, «крупный мужчина» работал франкистским министром туризма и информации и сам считал своей заслугой ослабление цензурного прессы и открытие страны миру. Он придумал слоган *Spain is different* и учредил сеть гостиниц *Parador*, располагающихся и по сию пору в историче-

ских зданиях, что способствовало (и способствует до сих пор) развитию туристической инфраструктуры по всей Испании.

Фрага был настоящим политиком, «существом политическим». Ему нравилось участвовать в самом процессе. «Такова роль политика, – говорил он, когда ему было под 80, слушателям Школы в мае 2002 года, – формировать правящее большинство и идти на уступки несогласному меньшинству... Если политик не может подарить мечту, то ничего не добьется». К слову сказать, именно он в 1964-м придумал лозунг «25 лет мира», который оправдывал четверть века правления каудильо. На дворе был франкистский режим – и он служил каудильо, принадлежа к крылу технократов, стремившихся превратить Испанию в нормальную европейскую страну, а самого каудильо подтолкнуть к процессу мирного транзита власти к королю Хуану Карлосу.

В 1962 году Мануэль Фрага был назначен министром информации и туризма, и одновременно министром промышленности стал другой сторонник постепенных перемен – Грегорио Лопес Браво. Вдвоем они написали текст обращения Франко к народу в Новый, 1963 год, без единого упоминания происков франкмасонов, зато с подробным разбором экономических достижений и перспектив страны. Правда, именно в это же время министр дискредитировал себя «разъяснительной работой» по поводу необходимости казни «отъявленного убийцы» коммуниста Хулиана Гримау. Начиная с 1964 года он пробивал новый закон о прессе, который не нравился фалангистам и Франко, но в 1966-м закон был все же принят. Позже в 1969 году один из приближенных диктатора утверждал, что в результате усилий министра информации возникает впечатление, будто Испания – страна, «пребывающая в политической стагнации, имеющая монополистическую экономику и отличающаяся социальной несправедливостью. Пресса использует порнографию для коммерческих целей... Книжные магазины заполнены продукцией, пропагандирующей атеизм и коммунизм...».

В конце правления каудильо Фрага, будучи уволенным с поста министра туризма и информации, сохранял неформальное влияние (Хуан Карлос даже рекомендовал Франко назначить его

премьер-министром) и принадлежал к числу так называемых апертуристов. То есть тех представителей элиты, которые хотели бы демократизации Испании. О том, что способствовало переходу его страны к демократии, ветеран испанской политики, называвший себя «либеральным консерватором» и утверждавший, что любая демократия должна быть «органической», потому что она связана с обществом, рассказывал в той же лекции в Голицыно, воспринимать которую надо, конечно, с поправкой на самооправдание: «В Испании государство не пыталось разрушить гражданское общество, как это было в СССР и, наверное, поэтому переходный период в Испании проходил легче. У нас сохранилась частная собственность; цензуру мы отменили еще при Франко, когда я был министром информации. У нас было благоприятное для внутренних перемен международное положение (Фрага имел в виду хорошие отношения с США – на территории Испании сохранялась американская военная база – и с международными финансовыми организациями, которые помогали технократам-экономистам в правительстве, стремившимся открыть страну. – А.К.). И мы также многому научились на примере Португалии, где в 1974 году произошла революция, достаточно сильно потрясшая западный мир; поэтому мы были осторожнее, предусмотрительнее в своей работе. Кроме этого, у нас был средний класс, хотя и менее развитый, чем в других странах Европы. Важно также, что Испания опиралась на институт монархии».

Уже в почтенном возрасте Фрага основал партию Народный альянс, переименованную впоследствии в Народную партию. На посту руководителя его сменил Хосе Мария Аснар, ставший потом премьер-министром.

Кстати, об Аснаре. Старик Фрага сам про себя рассказывал такой анекдот: Франко на том свете встречает только что умершего политика и спрашивает: «Кто сейчас правит у нас в Испании?» – «Аснар». – «Да, помню Аснара, это, наверное, его сын?» – «Нет, внук...» – «А кто управляет Мадридом?» – «Луис Галардон». – «А, сын моего знакомого!» – «Нет, внук». – «А кто управляет на моей родине, в Галисии?» – «Фрага». – «Это внук того Фраги?» – «Нет, сам Фрага».

Если бы Франко поинтересовался судьбой Хосе Мариа Хиль-Роблеса, то выяснилось бы, что политикой занимались оба его сына – Альваро и носящий имя отца Хосе Мариа – депутат и даже одно время глава Европарламента.

Что же до Фраги, то бывший франкистский министр говорил Лене: «Франко сейчас на небесах, наверное, думает: “Что ты делаешь, Фрага?” А я гуляю по Голицыно!»

Так Голицыно если не примирило, то дало одну крышу двум выдающимся испанским политикам.

Святой Иаков, один из апостолов, старший брат Иоанна Богослова считается покровителем Испании, Реконкисты, путешественников. Лодка с его останками чудесным образом проделала путь по Средиземному морю, обогнула западную оконечность Европы и оказалась в устье реки Ульи. Его мощи хранятся в Сантьяго-де-Компостела. В течение нескольких веков – в соборе Святого Иакова. Тысячи паломников – от Франциска Ассизского до Папы Иоанна Павла II – отправлялись в долгую дорогу, чтобы увидеть раку святого с мощами. В соборе раскачивается «ботафумейро» – самое большое в мире кадило «ростом» и весом с человека. Благовония раскачивающегося механизма не только создавали мистическую атмосферу, но и несколько очищали воздух от испарений немых тел паломников. Компостельский *la catedral* – третья по важности географическая точка католицизма после Иерусалима и Рима. В 1998 году Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела, прекрасный, как две огромных скалы, стал свидетелем поразительного действия: женщина из России, стоя перед паломниками, прочитала то ли речь, то ли проповедь в жанре молитвы. Никогда до этого подобных контактов с православным миром в этих стенах не было. Женщина не принадлежала к православию, не исповедовала никакой религии, а по национальности была еврейкой. Звали ее Лена Немировская.

Эту фантазмагорическую историю затеял Мануэль Фрага Ирибарне. Сообщил об идее выступления в соборе перед паломниками за день до события, причем не лично, а через переводчика Александра Казачкова. В ночь перед службой у Лены и Юрия Петровича на-

чалась паника: что в принципе можно сказать почти в буквальном смысле «с амвона»? Что проповедовать не просто католикам, а людям, которые пришли в храм пешком по «дороге святого Иакова», дороге, которая называется «Млечный путь»? Не слишком ли велика ответственность – выступать впервые в стенах католической святыни от имени «русского мира» (первая православная служба пройдет в этом храме лишь шесть лет спустя)? Как не ошибиться в идеях и тональности? Не испортить впечатление? Какую благую весть принести из России? Как в принципе построить выступление? В каком жанре? Глубокой ночью Лена позвонила в гостиничный номер одному из ключевых российских экспертов Алексею Салмину. И попыталась уговорить выступить от имени «русского мира» именно его. «Лена, если эта миссия выпала на вас – вам ее и предстоит осуществить. Так просто ничего не бывает». В пять часов утра Немировская заснула на полчаса. До выступления оставалось каких-то три часа – надо было, едва заснув, вставать. Как это и бывает в обычных семьях, состоялся разговор о том, кто первый идет в ванную. «Ну, сколько человек может пробыть в душе – 10-15 минут, – вспоминает Лена. – Юра отправился в ванную, а когда вернулся – у меня уже было выступление».

Вот несколько фраз из черновика:

«Святой апостол Иаков!

В это утро, в среду, 10 июня, благодарю тебя за то, что я здесь и прошу твоего благословения и наставления на путь истинный...

Я представляю здесь мужчин и женщин из России и Грузии, приехавших на галисийско-российский семинар.

Там, в далекой отсюда России, народ ее проходит тяжелые испытания и живет трудной жизнью. Между людьми часто отсутствует взаимопонимание. Различия и разногласия затмевают ум и ослабляют сердце.

Святой Иаков, здесь, в этом храме, прошу тебя, просвети мою душу и души тех, кто забывает, что все различия разрешаются только на пути диалога и любви...

Помоги нам, пришедшим к Тебе, следовать по широкой дороге взаимопонимания и взаимоуважения, дабы христианская терпи-

мость стала для нас смыслом жизни, настраивая сердце на любовь к истине и человеку».

Понятно, что Лена, открывая каждый из семинаров последнего времени, когда униженный статус заставляет всякий раз вспоминать о том, что Школа лишена Голицыно, воздаст должное тем, кто стоял у ее истоков. И всякий раз разъясняет, особенно новым слушателям, свой замысел. И старается вытаскивать на сессии, панели, пленарные заседания новые и старые звезды. Рядом с «новичками» Хаканом Алтынаем и Иваном Крастевым могут присутствовать Джон Ллойд, известный британский журналист и Михаэль Мертес, бывший советник Гельмута Коля, которые были со Школой в годы ее становления. Эти люди – фундамент. И теперь они стали ее «добавленной стоимостью». Потому что ценность таких людей во времена новой турбулентности только растет, а их мнение обретает дополнительный вес – оно естественным образом «тяжелеет».

Открывая семинар для журналистов в Оксфорде, Лена упоминает Ральфа Дарендорфа, который когда-то был в этом университете *warden*’ом, деканом Сэнт-Энтони колледжа. А за стеклами современного корпуса Сент-Эннс колледжа, где открывается конференция – безукоризненная английская трава, на которую хоть сейчас можно выпускать пастись овец. Ничто, кроме деликатного строительства новых зданий, не меняется столетиями. Яростный, но теплый ветер не слышен в аудитории, а Лена предваряет выступление своего друга Джона Ллойда размышлениями о главном – свободе и гражданском обществе: «Для себя мы придумали термин – не гражданское общество, а “общество граждан”. Это индивидуальное пространство, индивидуальная жизнь... Человеку трудно справиться со своей свободой, и взять он может столько свободы, сколько сам может выдержать...». (Кажется, это противоречие между гражданским обществом и обществом граждан – и есть различие между демократией и либерализмом, которое отметил в своих «Эссе об Испании» Ортега-и-Гассет: «Демократия отвечает на вопрос: Кто должен осуществлять политическую власть?» Ответ: «Осуществление политической власти воз-

лагается на гражданское общество»... Либерализм отвечает на вопрос совершенно иной: «Каковы должны быть границы политической власти, кому бы она ни принадлежала?» Ответ звучит так: «Политическая власть, осуществляется ли она автократически или всенародно, не должна быть неограниченной, но любое вмешательство государства предупреждается правами, которыми наделяется личность». Налицо стремление сдержать натиск государства.)

И дальше – одна из любимых идей Сенокосова, который любит повторять на первый взгляд парадоксальную мысль о том, что «демократия – это пустое пространство»; Лена ее очень просто объясняет: «Перед нами пустое пространство, и заполнить его мы можем только сами». Мучительные размышления о движении общества и государства вспять в последние годы не отпускают Немировскую, и она делится ими с совсем новыми слушателями: «Почему так быстро все изменилось? Это наше поражение, мы не держали те точки, которые должны были держать. И это произошло потому, что мы мало знали. Чтобы больше знать и понимать, и существуют наши семинары. Это не тест, не навык, не обучение. Это просвещение. Приглашение к усилию понимать мир».

Оксфорд – это место Джона Ллойда, председателя Попечительского совета Школы гражданского просвещения, взявшего на себя бремя этой миссии в самые сложные для нее времена. В Оксфорде он работает в качестве старшего исследователя в Рейтеровском институте журналистики Оксфордского университета и является членом Сент-Эннс колледжа. Собственно, Джон и был одним из сооснователей этого Института, проработав много лет в Financial Times (он и сейчас, будучи колумнистом Рейтерс и итальянской La Repubblica, пишет для FT). Одна из былых позиций Ллойда в этой газете – шеф Московского бюро. Итогом работы в Москве стала добросовестнейшая, гигантская книга размером с роман Томаса Манна: жизнеописание России на сломе эпох, увидевшее свет в Англии в 1998 году – «Второе рождение нации. Анатомия России».

Высокий шотландец, которому никогда в жизни не дашь его 70 лет, присутствовал в Школе всегда. Да и свое 70-летие справлял

в Лондоне в доме дочери Сенокосовых Тани. В том числе потому, что одним из следствий его командировки в Москву стало знакомство в конце 1980-х с Леной Немировской. «В их судьбе (Сенокосова и Немировской. – А.К.) было много превратностей, – писал Ллойд в своей книге о России, – и самой малозначительной из них было использование мною русского языка во время долгих вечерних разговоров». Безусловно, это кокетство – русский язык Джона очень приличный, вплоть до того, что он может читать лекции по-русски. После вечеринки, на которой познакомились Лена и Джон, и где он говорил только по-английски, Ллойд на некоторое время исчез из поля зрения. И вернулся уже говорящим на языке страны пребывания – оказывается, уезжал в Лондон, где окончил интенсивные курсы русского языка: чуть ли не 24 часа пребывал в наушниках со звучащей в них русской речью. Спустя полгода жизни в России Ллойд уже мог брать интервью на русском.

И началась дружба. В том числе с женой Джона – Марсией Леви. Мир, конечно, глобальная деревня, но иногда совпадения кажутся почти невероятными и накрепко связывают людей: бабушки Марсии и Лены оказались из одного города – Кременчуга. Ллойд даже организовывал туда поездку. Потом Марсия, мать сына Ллойда – Джейкоба, который сейчас играет на сцене лондонского «Глобуса», перестала быть его женой, но осталась в зоне притяжения Лены и Юры – эта красивая женщина с внятной британской речью, профессиональный судья, выступая на семинаре в Голицыно, говорила об особенностях английского правосудия.

«Что меня всегда в Джоне поражало – это открытость идеям и людям, активная доброжелательность, – рассказывает Лена, – он знает всех, его знают все. Однажды живший у нас Рэйф Файнс, выходя из квартиры, столкнулся с входившим Джоном. Они потеряли дар речи от изумления, потому что были хорошо знакомы, но никак не рассчитывали встретиться именно в Москве, да еще в одном и том же месте».

Человеческая благодарность – возможно, самое долгое чувство. За два года до падения железного занавеса, когда позвонить в Лондон и поговорить с Таней было не просто, Джон время от времени

приглашал Сенокосовых в свой офис, и они звонили дочери. То же самое делал и итальянский журналист Марко Политти.

– Такие вещи не забываются, – говорит Лена.

Еще один важный для Школы англичанин, который уже упоминался на страницах этой книги – сэр Родрик Брейтвейт, председатель попечительского совета МШПИ с 1993-го по 2012 год, посол Соединенного Королевства в СССР и России в переломное для страны время, 1988–1992 годы.

Юрий Петрович и Лена стали навигаторами для посла Брейтвейта и его жены Джилл в мире московской интеллигенции. Однако этим их отношения не ограничились. Вместе они пережили и августовский путч 1991 года.

В своих мемуарах «За Москвой-рекой. Перевернувшийся мир» посол подробно описал события тех дней: «Джилл позвонила мне из квартиры Сенокосовых. Она встретила их возле Белого дома и слышала радостные крики толпы, когда было объявлено, что премьер-министр (Великобритании. – А.К.) Мэйджор позвонил Ельцину, и снова – когда в здание вошел Шеварднадзе... На следующий день Джилл призналась, что вместо того, чтобы соблюдать комендантский час, она пошла с Сенокосовыми к защитникам Белого дома...».

Само имя сэра Родрика было чрезвычайно важным для Школы в силу международного признания и известности этой фигуры; он наводил мосты между Маргарет Тэтчер и Михаилом Горбачевым, а потом участвовал в налаживании отношений Запада с правительством Ельцина-Гайдара в самый тяжелый и ответственный год либеральных реформ. Брейтвейт проницательным образом, что отнюдь не было свойственно тогдашним западным дипломатам и чиновникам, оценил необходимость поддержки гайдаровского кабинета. 11 января 1992 года он отправил в Лондон телеграмму: «Возможно, это последний и наилучший шанс осуществления экономической реформы, а следовательно, и достижения политической стабильности в России. Если Гайдара сметут, мы в скором времени можем снова оказаться лицом к лицу с экономистами-знахарями и ав-



Душа Школы – программный координатор Инна Берёзкина



Британский историк Джефри Хоскинг



Экс-советник Билла Клинтона Тоби Гати – подруга Лены и друг Школы.
На семинаре в Голицыно



Сэр Родрик Брейтвейт, бывший посол Великобритании в России, долгое время возглавлял Попечительский совет Школы



Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела с самым большим в мире кадилом. Лена перед первым в истории выступлением представителя России в одном из самых важных для католиков храмов



Людмила Алексеева – нравственный стержень и камертон

Школьные будни...



Фотограф Олег Начинкин



Директор Марина Ефремова



Обычная «школьная панорама». В центре – социолог Юрий Левада



Переводчик Марк Дадян



Сотрудники: Марина Скорикова,
Света и Саша Шмелёвы



Школьные будни (продолжение)



Юрий Сенокосов выпил настоящий Байкал



Люба и Света Аристарховы



Степан Скориков



Британский эксперт Кит Хэмпсон



Лев Балинер



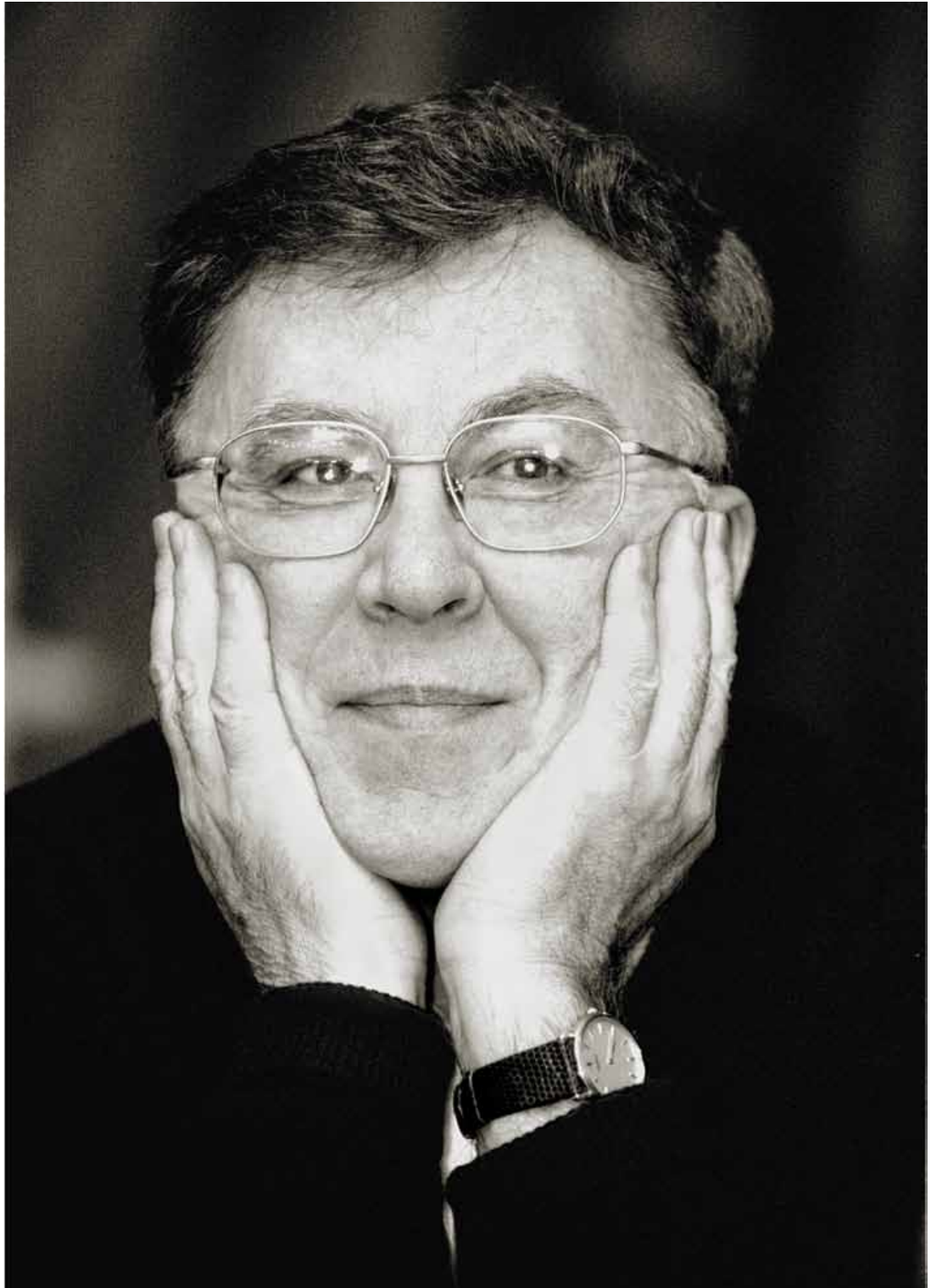
Анастасия Гонтарева



Бывало и такое: спасение «школьного» автобуса



Наталья Раздаева



Юрий Сенокосов. Мыслитель



Елена Немировская. «Культура имеет значение»

Церемония
награждения
Елены
Немировской
Орденом
Британской
Империи,
2003 год

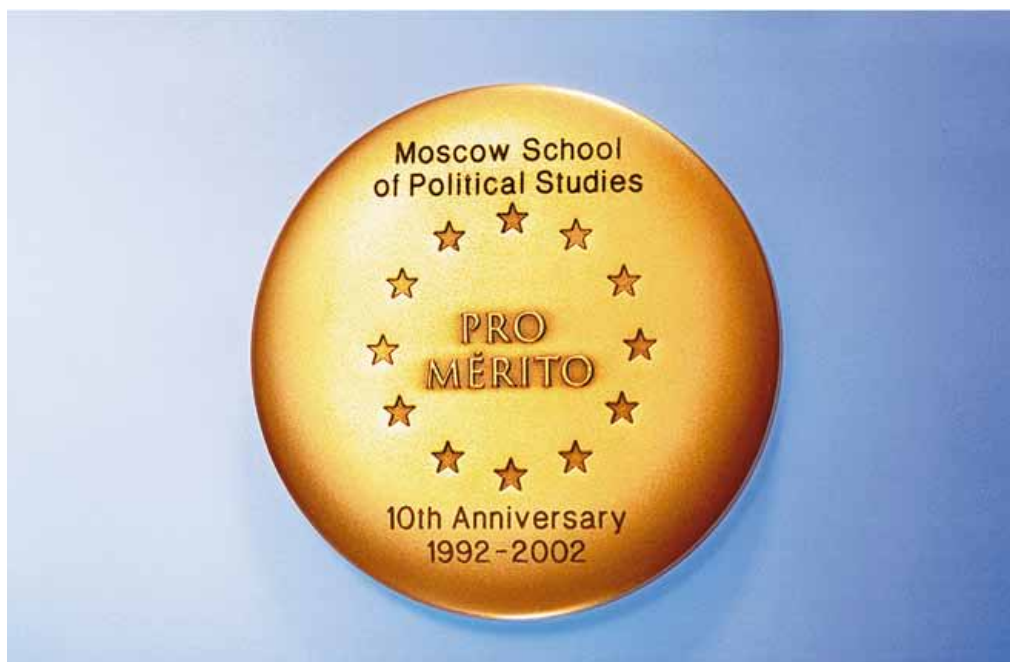


На трибуне – сэр Родерик Лайн. В президиуме крайний слева – Каха Бендукидзе



Поздравления
от Рене Ньюберга

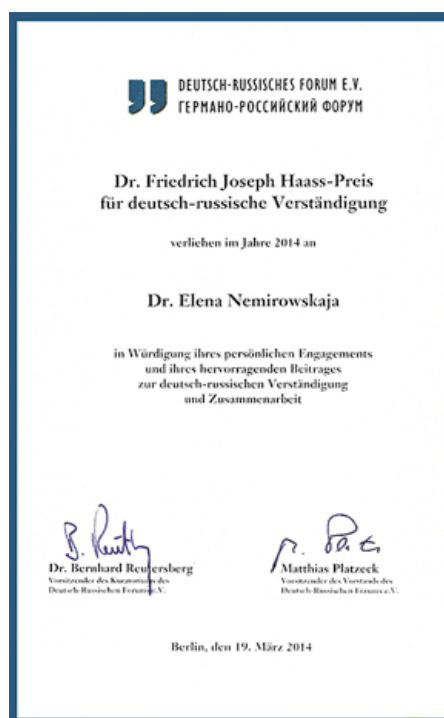




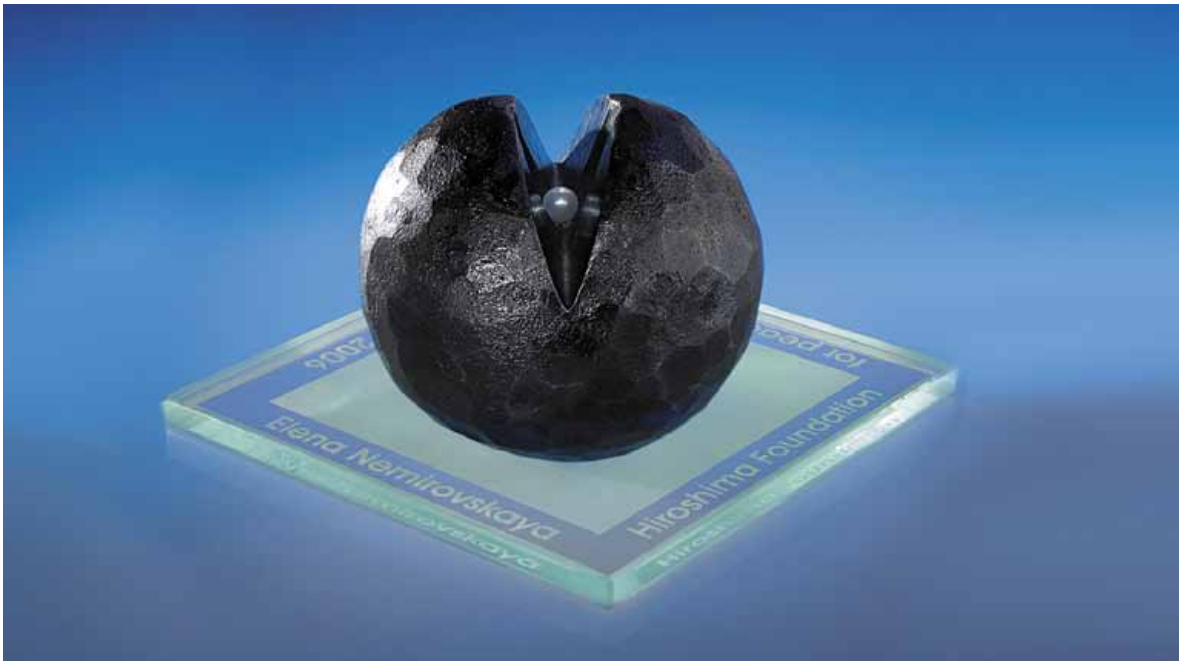
Награды школы. Медаль Совета Европы Pro Merito («За заслуги»)



Премия имени Егора Гайдара



Премия им. Фридриха Йозефа Гааза



Премия Фонда Хиросимы “Ради мира и культуры”



Почетная награда
Республики Польша
“Bene Merito”



Польский
Кавалерский Крест
Ордена за Заслуги



Национальный орден
Франции “За заслуги”



45 лет вместе, 25 лет со Школой

торитарным руководством, пытающимся направить недовольство народа против внешнего (украинского? западного?) врага».

Возможно, такому пониманию событий способствовало и то, что предшественник Брейтвейта на посту посла Великобритании в России Джордж Бьюкенен по стечению исторических обстоятельств покинул свой пост... в январе 1918 года. А после этого были только послы в СССР. Главное же, будущий председатель попечительского совета Школы был разносторонне образован, хорошо знал русский язык и Россию, а его послужной список дипломата включал в себя работу в Джакарте, Варшаве, Москве (еще в 1960-е годы), Риме, Брюсселе, Вашингтоне. После службы в СССР/России Брейтвейт работал в качестве советника по международным вопросам Джона Мэйджора. О широте его интересов свидетельствует тот факт, что он занимал позиции председателя Королевской академии музыки и *governor*'а Английской национальной оперы. В 1994 году экс-посол был награжден Большим рыцарским крестом.

Библиография Брейтвейта не ограничивается мемуарами, о которых Михаил Горбачев написал, что если бы все понимали Россию так же хорошо, как посол Ее Величества, «история обошлась бы с нами более благосклонно». Никто из отечественных исследователей не проделал системную работу и не обобщил в жанре нон-фикшн историю обороны Москвы в 1941 году и вовлечения СССР в войну в Афганистане. За них это сделал сэр Родрик в двух фундаментальных работах, которые переведены на русский язык: причем книгу «Москва 1941. Город и его люди на войне» издал бывший мэр столицы Юрий Лужков (и даже написал предисловие), а «Афган. Русские на войне» увидела свет через два года после английского издания (оригинальное название: «*Afgantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89*»).

Джилл Брейтвейт, супруга посла, скончавшаяся от рака довольно рано, поделила с ним всю географию дипломатической службы. А когда была вынуждена уйти с нее, переквалифицировалась в археологи и стала одним из специалистов по римскому гончарному ремеслу.

Масштаб этих двух личностей, втянутых в круг квартиры на Куззовском, а затем в поле притяжения Школы, соответствовал за-

дачам гражданского просвещения – так, как они виделись Ю. П. и Лене: передавать видение мира от лучших из лучших.

Настоящее «вхождение» Лены Немировской в британскую политическую среду произошло в Страсбурге. Будучи приглашенной весной 1993 года Советом Европы на лекцию о демократии, она услышала блистательное и полное экспрессии выступление члена британского парламента, баронессы Ширли Уильямс, а затем была ей представлена. Баронесса – весьма активная католичка, которая наряду с Маргарет Тэтчер считается британской политической иконой, на следующий день пригласила Лену на службу в католическом храме. И это событие стало началом их большой дружбы и огромного вклада Ширли Уильямс в интеллектуальное становление и организационное развитие Школы.

Если Луи Альтюссер, с которым переписывался Мераб Мамардашвили, пытался соединить католицизм и марксизм, то баронесса Уильямс совмещала в практической политике – а она не раз бывала министром в разных английских правительствах и членом парламента – приверженность католицизму и либерализму. Ее очень самостоятельный взгляд на политическую реальность привел к уходу из лейбористской партии и созданию в 1980-х годах партии Либеральных демократов. Она была ее первым председателем. А размышления о соотношении христианского учения, католической церкви и жизни в современном мире были собраны в сконцентрированном виде в книге «Бог и Цезарь». Надо специально оговориться, что автору-баронессе в год выхода книги – 2003-м – было 73 года. А на пенсию из Палаты лордов она вышла в январе 2016-го – в свои 85 лет.

На формирование взглядов Ширли Уильямс оказали влияние знаменитая мать – писатель и пацифист Вера Бриттен и отец – философ Джордж Кэтлин. Мемуары баронессы называются «Взбираясь на книжную полку» – и именно отец воспитал в ней *дерзость* взбираться на его книжную полку. Вторым мужем Ширли Уильямс стал книжный человек – основатель Школы Кеннеди Гарвардского университета Ричард Нойштадт. Как и его жена, он совмещал науку и

публицистику с практической политикой – консультировал президентов: Трумэна (Нойштадт был одним из спичрайтеров в ходе второго срока этого президента), Кеннеди, Джонсона, Клинтона, а среди его студентов числился Эл Гор.

Благодаря Ширли Ричард появился в Школе и стал одним из любимых ее экспертов, пополнив число «школьных» супружеских пар по образцу Дианы Пинто и Доминика Моизи (да и самих основателей проекта). Школа перевела и выпустила в свет две главных книги Нойштадта («Президентская власть и нынешние президенты» и «Современные размышления. О пользе истории для тех, кто принимает решения»), чрезвычайно важных для американского политического класса. Андрей Захаров, переводивший эти книги, рассказывает о Нойштадте: «Президент США Джон Кеннеди был застрелен снайпером в пятницу 22 ноября 1963 года. На понедельник, 25 ноября, планировалась его встреча с профессором Колумбийского университета Ричардом Нойштадтом, который должен был представить главе государства свои соображения по поводу того, как можно было бы усовершенствовать работу его администрации. Нойштадт, к тому моменту ставший признанным знатоком американской системы власти, консультировал нескольких американских лидеров: первое издание его книги “Президентская власть и нынешние президенты” к началу 1960-х годов уже стало бестселлером. “После избрания Кеннеди я посоветовал ему прочитать три главы из моей книги”, – рассказывал Нойштадт на семинаре в Голицыно в августе 1997 года. – Он на меня странно посмотрел и сказал: “Я вообще-то читал всю вашу книжку”».

В блистательной компании экспертов Школы Ричарду Нойштадту принадлежало особое место. Во-первых, он ничуть не был политически ангажированным человеком: политика интересовала его в той же мере, в какой, скажем, врача-исследователя интересует опасное и распространенное заболевание. Для российской атмосферы 1990-х, перенасыщенной политическими распрями, расколами и размежеваниями, такое отношение было в диковинку. Во-вторых, американский профессор привез с собой нетипичное для России, пусть даже “демократической”, видение власти: он рассказывал не

о том, как американские лидеры ломают оппонентов через колено, но о том, что их главным оружием выступает “власть убеждать”. Наконец, в-третьих, сам Нойштадт с его галстуком-бабочкой в белый горошек и умиротворяющей манерой повествования был для нас, тогдашних слушателей, воплощением иной, совершенной и правильной, академической культуры – культуры здравого смысла и взвешенного суждения, а не тупой партийности и дикой непримиримости».

Между Школой Кеннеди и Школой Лены и Юры было и есть нечто общее. Что, собственно, Юрий Сенокосов обнаружил в размышлениях профессора Гарварда Нойштадта и его последователей. Основатель Школы Кеннеди считал, что осуществлять лидерство – значит по определению совершать моральный акт. Вести людей за собой не то же самое, что осуществлять лидерство. Акт лидерства позволяет раздвинуть границы возможного – сделать больше, чем от вас ожидают, или больше, чем вам поручено.

Мотивы Ричарда Нойштадта, который более 30 лет тому назад мечтал об «улучшении класса политических лидеров», созвучны сегодняшним идеям Сенокосова о качествах гражданина и гражданского лидера.

«Если разговор об универсальных ценностях начинает болгарин, значит, с ними действительно что-то не так», – начал свое выступление на берлинском форуме в октябре 2015 года Иван Крастев. И продолжил: «Знаете, есть такая самая короткая еврейская телеграмма: “Начинай беспокоиться. Подробности письмом”».

Иван Крастев – один из самых ярких европейских публичных интеллектуалов. Его статьи в «Нью-Йорк таймс» всегда актуальны, а выступления остроумны и точны. Лена и Юрий Петрович нередко посещают его в Вене, где Крастев работает в Институте гуманитарных наук. Он в курсе всего и читал обо всем. Даже в баре гостиницы, где мы сидим с журналистом Виталием Дымарским, сыном знаменитого спортивного комментатора Наума Дымарского и учеником моей мамы в знаменитой московской французской спецшколе №2, Иван появляется с книгой в руках. На этот раз это работа Айры

Кацнельсона об эпохе «нового курса», которая началась с Франклина Рузвельта и закончилась Дуайтом Эйзенхауэром... Очень просто одетый человек с толстой, слегка помятой бумажной (!) книгой в баре берлинского отеля смотрится несколько непривычно, хотя кто сейчас и чему удивляется...

На форуме, в главном зале Фонда Боша на Францозишештрассе с космополитическим и глобалистским прозрачным потолком, Крастев говорит о кризисе космополитического и глобалистского взгляда на мир. Раньше стоял вопрос – как управлять глобализацией? Теперь главный вопрос звучит иначе: как справляться с ответными ударами по глобализации? Вместо безграничных коммуникаций – их ограничения. Вместо разрушения границ – строительство границ. Либерализация и глобализация в пользу элит, и вот результат...

С этим взглядом можно спорить. От либерализации и глобализации во многих странах выиграли средние классы. Но правда в том, что – в недостаточной степени. Во всяком случае, не в той степени, чтобы общества не оказались разделенными. А отношения США и России Крастев рассматривает совершенно не под тем углом, что остальные. Например, так: «В 1970-х годах – во времена холодной войны – французский политолог Пьер Аснер использовал термин “конкурирующий декаданс”, чтобы описать соперничество между США и Советским Союзом. Подразумевалось, что у каждой из сверхдержав были серьезные внутренние проблемы, но та, которая медленнее разрушалась под грузом этих проблем, имела больше шансов выйти из игры победителем. Нечто подобное мы можем наблюдать и сегодня в отношениях между Россией и Западом. Каждая из сторон испытывает серьезные внутренние проблемы и при этом строит внешнюю политику в надежде, что соперник рухнет быстрее».

Или вот как его скептический ум препарировал эйфорию протестных движений: «И наконец, нас соблазнял “эффект Кремниевой долины”: наши идеи и стратегии социальных изменений были сформированы вовсе не историческим опытом, а утопией технологического прогресса. Застрав в вере в технологии, мы не смогли распознать слабости новых протестных движений и неверно оценили

их влияние на общество. Можно “делать” революции с помощью Твиттера, но нельзя с помощью Твиттера управлять, и многие из новых протестных движений платят высокую цену за свой антиинституциональный этос».

Когда Крастев говорит о ком-то или о чем-то – и это можно наблюдать и на международных форумах, и в гостиной Лены и Юрия Петровича, за их круглым столом – он делает это как естествоиспытатель. С пониманием логики каждой из сторон и в то же время с параллельной оценкой слабостей и комплексов. Еще одно преимущество Ивана как политического ученого состоит в том, что он – болгарин. И застал Болгарию советского периода – то есть знает систему сегодняшних проблем постсоветского мира. Ну и важно то, что он превосходно знает русский язык, а значит, и психологию изучаемых объектов.

Стыд за собственную страну, точнее, за ее руководство – один из эмоциональных и этических мотивов диссидентства. Семь человек, вышедших в августе 1968 года на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию, хотели показать миру, что не все в СССР поддерживают вторжение. Что есть люди, которым стыдно. И которые хотят извиниться перед потерпевшей стороной.

Людмила Михайловна Алексеева не была в августе 1968-го на Лобном месте, но испытывала те же чувства, что и те, кто вышел на площадь. И спустя четыре десятилетия – в августе 2008-го (трагическая симметрия истории!) – она просила прощения за свою страну и действия ее руководства уже не у чехословаков – у грузин. В Тбилиси проходил семинар грузинской школы политических исследований, денег у Московской школы было только на один билет, и Лена Немировская попросила Людмилу Алексееву полететь в Грузию. Вес и авторитет старейшей правозащитницы соответствовали случаю: грузинские интеллектуалы должны были услышать от человека с репутацией легендарного советского диссидента слова извинения, которые на самом деле стали словами утешения: Россия – это не ее власть. Это еще и люди, которым стыдно за решение о втор-

жении на территорию соседнего суверенного государства. Слушая Алексееву, участники грузинского семинара плакали.

Людмила Алексеева более чем на десять лет старше Юрия Петровича и Лены, но это одно поколение, с одинаковым жизненным опытом и небыстрым способом обретения себя. Война, Сталин, XX съезд – все это главные поколенческие обстоятельства и декорации. «Социальные сети» в виде общения в разных компаниях в разных домах и квартирах – один из методов пробуждения гражданского и политического сознания. Не случайно Алексеева говорила на одном из семинаров Школы, что ей кажется, будто она знает Сенокосова и Немировскую с юности, хотя знакомство произошло лишь в 1990-е годы, после возвращения правозащитницы в Россию из США.

Даже ощущения от одних и тех же событий были схожими. Маленькая Лена испытала жалость к пленным немцам, которых 17 июля 1944 года прогоняли по Москве. Юная Людмила, наблюдая ту же колонну, «злилась на себя – за то, что неспособна разделить гнев своих соотечественников. Я не могла назвать этих немцев “ублюдками”, не хотела их вешать или душить собственными руками».

Это одно поколение – поколение оттепели. То, что писала Людмила Алексеева о себе, могли бы повторить и будущие основатели Школы: «Руководителей и наставников у нас не было, мы могли учиться только друг у друга». Главное же, что происходило с этим поколением – «борьба за свободу личности от государства». Для начала – своей собственной личности.

В диссидентстве Людмила была организатором – Московская Хельсинкская группа, «Хроника текущих событий». Лена стала организатором в просвещении, следующем этапе становления гражданского самосознания в России – процессе более массовом, хотя в то же время и штучном, как и борьба за права человека. Потому что человек – это не масса, он отдельный. И в то же время из множества таких «отдельностей» и состоит гражданское общество.

«У нас не было второго, третьего эшелонов сопротивления», – написала однажды в письме в США Алексеевой выдающийся право-

защитник Лариса Богораз. Гражданское просвещение способно создать такую эшелонированную оборону прав человека, демократических и гражданских институтов.

Одна из лекций Людмилы Алексеевой в Школе называлась «Эстафета поколений». По сути эстафетную палочку борьбы за права человека внутри советского режима подхватили те, кто увидел корень проблем постсоветской России в гражданском невежестве и непросвещенности. Впрочем, это была передача «знамени» внутри одного поколения – поколения оттепели. И Алексеева продолжила одновременно борьбу за права человека и гражданское просвещение в условиях путинской России – как член Совета по правам человека при президенте, и как постоянный лектор Школы.

Это была очень причудливая борьба. Но именно борьба, даже если она с московских площадей перемещалась в казенные интерьеры Кремля. Летом 2010 года портрет Алексеевой был выставлен в оскорбительном виде в лагере кремлевской молодежи «Селигер», еще раньше, весной, какой-то отморозок-националист ударил ее по голове. Холодноватая вежливость Путина и либеральные повадки Медведева не страховали Людмилу Алексееву и от расчетливой жестокости ОМОНа, не делавшего скидку на возраст и пол. 31 декабря 2010 года на акции «Стратегии 31» – было тогда такое надпартийное движение, прообраз Болотной, правозащитница вышла на площадь Маяковского в костюме Снегурочки. Службы правопорядка ждали ее появления. Пожилая женщина получила сильнейший удар по пяткам. Ее выключили из участия в акции теми же методами, что и при Советской власти. Преемственность поколений была сохранена не только в гражданском движении, но и в репрессивных органах...

Открытая борьба везде – без оглядки на оскорбления, хамство, насилие. Колоссальный авторитет. Работа на износ в весьма почтенном возрасте. Это и называется – моральный ориентир.

Главное в Алексеевой – ежесекундная готовность помочь и здравый смысл. И вытекающие из всего этого такие непривычные в эпоху государственного карнцелярита, перемешанного с диалектом вражды, человеческие реакции и человеческий язык.

Если, например, разговор идет о предложениях об отмене моратория на смертную казнь, Алексеева называет вещи своими именами: «Вы представляете, сколько людей лишат жизни по несправедливым, неизвестно чем продиктованным приговорам?.. Но чтобы наш суд решал, жить человеку или не жить?!»

Да, невозможна ситуация, когда российский крупный бизнес вдруг стал бы помогать пораженным в правах некоммерческим организациям. Но Алексеева отказывается это понимать, и призывает состоятельных россиян жертвовать деньги НКО.

Реакция на войну на Востоке Украины – не осуждение, не возмущение, не разъяснение причин и следствий: «Я начинаю реветь!»

В чем должна выражаться помощь подсудимым по Болотному делу? Снова человеческая реакция и человеческие слова: «Я очень прошу, это моя самая горячая просьба: приходите на суд как можно больше».

«Гражданское общество – это все то, что не власть», – предложила такое определение в одной из лекций в Школе Людмила Алексеева. В последние годы власти, казалось бы, становится все больше. И она все больше проникает в том числе в частную жизнь обычного человека и его личное пространство. Но это и провоцирует обратную реакцию – рост гражданского самосознания и разнообразие его проявлений. Что порождает конфликтность. Но, вероятно, гражданскому обществу придется через это пройти – используя опыт и Алексеевой, и Немировской.

В интервью перед вручением Премии имени Егора Гайдара в 2013 году Лена сказала, что в деле развития гражданского общества не должно быть героев, должны быть – граждане. «Но один человек может быть героем».

Вот она и есть – этот один герой: Людмила Алексеева.

Я всегда испытывал симпатию к курящим людям и сочувствие к бросившим курить – у них при виде сигареты появляется на лице растеряннo-детское выражение. Курящие нынче в статусе своего рода диссидентов. А уж если курящий еще и сам является настоящим инакомыслящим, да еще бывшим эком, и при этом учеником Юрия Лотмана, обаяние такого человека – безгранично.

Арсений Борисович Рогинский, председатель правления международного «Мемориала», возможно, самый успешный эксперт-лектор-спикер Школы. Во всяком случае, мне не довелось за все годы «наблюдений» за МШПИ стать свидетелем столь ошеломляющего, почти эстрадного признания у слушателей. Вплоть до такого явления, которое раньше в стенограммах партийных съездов называли «бурные, продолжительные аплодисменты, все встают». В произносимых текстах подлинные эмоции соединяются с сухой рассудочностью, нравственная правота – с готовностью последовательно бороться с системой и никогда не сдаваться, высокая образованность – с когда уничтожающей, а иной раз – доброй иронией. Остроумие интеллектуала тартусской выучки, перемешанное с жестким юмором, переходящим в рациональную серьезность бывшего зэка – это Рогинский. За благорасположение которого и возможность пообщаться бьются и слушатели, и коллеги-эксперты.

У меня для общения с Арсением Борисовичем было сразу несколько конкурентных преимуществ. Первое – моя жена Маша курит, за счет чего она стала самым частым его собеседником. Во-вторых, ему очень нравился наш сын Вася – серьезный подросток, перерастающий в олешевского «строгую юношу». Наконец, Рогинский сидел в одной зоне с моим дедом. По его предположению, – в тех же бараках, построенных в этом самом Вожаеле, Коми АССР, еще в 1920-е годы. Правда, отбывал срок с разницей в несколько десятилетий. Потому что «неразоружившийся меньшевик» Давид Соломонович Трауб сидел там с 1938-го по год своей смерти – 1946-й. А советский диссидент, к тому же родившийся в месте ссылки своего отца, в городе Вельске Архангельской области, историк Арсений Борисович Рогинский трубил свой срок с 1981-го по 1985-й.

Моя любимая история из устных лагерных рассказов Рогинского тоже связана с табачными изделиями: о том, как он хотел, да не бросил курить. В одиночной камере, куда его поместили за неправильное поведение, курить было нельзя – а значит, появился счастливый шанс реализовать давнюю мечту: избавиться от вредной привычки. Но помешала солидарность зэков. «Так вот, – продолжил рассказ Арсений Борисович, прикуривая сигарету «Парламент найт

блю», – стена камеры вдруг зашевелилась, в ней образовалась дырка приличных размеров, и через нее в камеру вплыли кружка чифиря, спички и... пачка “Примы”. Так я и не бросил курить».

Кстати, этот человек, прежде чем лечь спать, выпивает чашку кофе. Иначе не засыпает...

Рогинский несколько моложе Немировской и Сенокосова, тем не менее, это не только одно поколение, но и один круг, где, вообще говоря, все балансировали на грани посадки. Когда я написал статью о Кормере, Арсений Борисович сказал: «Хорошо, что вы вспомнили Володю». Узок круг...

Никогда у Рогинского не было иллюзий по поводу любой власти. От него я с удивлением узнал, что архивы госбезопасности толком не открыли даже в 1990-е. Благодаря ему я нашел следственное дело своего деда – Арсений Борисович дал наводку на Государственный архив Российской Федерации. Обнаружилось, что скромное, сверхтипиичное для времени большого террора дело, однотомное и слепленное на коленке, было рассекречено только в 1999 году. А хранилось почему-то до этого времени в архиве ФСБ по Московской области.

Редко когда власть бывала союзником и помощником. В этих ситуациях Рогинский выказывал готовность кооперироваться – например, в деле выбора и установки памятника жертвами политических репрессий в Москве. Сохраняя дистанцию и здравый смысл. Он всегда готов к обороне, не ожидая от власти ничего хорошего. О чем свидетельствуют и его личный опыт, и представления о жизни профессионального историка, занимавшегося народовольцами и эсерами. Его уютный кабинет в «Мемориале» – это не столько кабинет правозащитника, сколько ученого-историка. Покурить он выходит во внутренний двор – дома, где когда-то жил Утесов. И, кстати, еще один эксперт Школы – Денис Драгунский...

Однажды я ждал часа заселения в скромную брюссельскую гостиницу, сидел в лобби отеля, работал и вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд – это был Рогинский. Но характер общения в любых декорациях – бар в глухой испанской провинции, дворик в московском Каретном ряду, ступени брюссельского отеля – всегда один и тот же: стоим, разговариваем о главном и курим (даже

я иногда стреляю у Рогинского сигареты – это ж невозможно иначе беседовать). И для меня всегда это очень важные минуты...

А Юрий Петрович написал о Рогинском и «Мемориале» такой текст. Он называется «Что такое думать...»:

«В 1957 году в СССР публикуется повесть братьев Стругацких “Пикник на обочине”, герой которой лихорадочно ищет самые главные слова в главный, кульминационный момент своей жизни. Он пытается что-то самое существенное понять, он думает. “Дело непривычное – думать, вот в чем беда. Что такое думать? Думать – это значит извернуться, сфинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится...”

Разумеется, не годится. Но тот, кто лжет, ведь тоже пользуется умом и может сказать, что он думает, когда приводит соображения и доводы в свое оправдание. Как и вор, обокравший человека, может согласиться с причиной или поводом для ограбления.

Так что же такое думать?

В XVIII веке современник Канта – Монтескье, отвечая фактически на этот вопрос, но по-иному сформулированный, писал: “Я счел бы себя счастливейшим из смертных, если бы мог излечить людей от свойственных им предрассудков. Предрассудками я называю не то, что мешает нам познавать те или иные вещи, а то, что мешает нам познать самих себя”.

Мешает, конечно, отсутствие сомнения в отношении собственного ума. Когда узнать, что такое ум, можно лишь сомневаясь, поскольку мышление не дано нам природой. Природой дан инстинкт, а думать и мыслить мы учимся, извлекая опыт, чтобы объяснять, что происходит в окружающем мире, и понимать. Не только слушать других, а учиться самим. Учиться понимать себя. Ибо, только понимая себя, можно понять других. И тогда, зная, что все в нашей жизни взаимосвязано и пронизано предрассудками, становится понятно, что ложь и зло всегда находят причину и повод, а для совершения добра и умных поступков нет причин. Добро, как и общественное благо, творятся потому, что всегда находятся люди, для которых они, как и свобода, самоценны и в этом смысле беспричинны. И их познание, как и познание справедливости, начинается с удивления,

а познание зла – с пережитого страха. Но в том и в другом случае познание, безусловно, предполагает свободу, которая не сводится к выбору. Сошлюсь в этой связи на русского поэта Максимилиана Волошина, который в конце 20-х годов XX века сказал по поводу трагических последствий большевистской революции: чтобы описать эпоху, мало ее пережить, надо еще и забыть ее! Ведь процесс забвения есть процесс усвоения.

Это парадоксальное высказывание (не помнить, а забыть, чтобы усвоить) имеет, на мой взгляд, прямое отношение к свободе – не как к выбору, когда ты уже бессилён что-либо изменить, а к претворению памяти о зле, когда у тебя есть шанс понять, что только через собственное свободное развитие и просвещение можно влиять на окружающую действительность.

В этом я вижу смысл деятельности “Мемориала” и работы мемориальцев – архивной, просветительской, конкурсной, правозащитной, помогающей людям избавляться от “заороженности злом”.

Быть свободным сегодня, значит соответствовать тем принципам – защиты естественных прав человека, экономической свободы, частной собственности, равенства всех перед законом, разделения властей, легальной оппозиции, – которые изобретаются ценой риска и упрямства и затем на уровне физического навыка, методом проб и ошибок, как показывает исторический опыт, массово личностно осваиваются. Только так возникает общество граждан, способных мыслить критически, преодолевая соблазны и искушения культурного фундаментализма, политического насилия и безразличия, индифферентности к социальной сфере. Поскольку все мы, так или иначе, по определению, хотим быть счастливыми, успешными, любить и быть любимыми и свободными».

Михаэля Мертеса Юрий Петрович называет Мишей. С ним Немецкую и Сенокосова свел все тот же Доминик Моизи, один из крестных отцов Школы. Это был 1993 год, Мертес работал главным спичрайтером канцлера Германии Гельмута Коля – затем он возглавит отдел политического планирования. Собственно, само знакомство состоялось в Бонне, в тогдашнем здании ведомства федераль-

ного канцлера. Здесь Лену сначала поразила скульптура Генри Мура, которая была установлена еще во времена Гельмута Шмидта, скептически относившегося к своей резиденции и говорившего, что она обладает привлекательностью отделения Рейнской сберегательной кассы. А затем, уже внутри здания, на лестнице, впечатлил человек-шкаф, надвигавшийся на нее. Он оказался чрезвычайно приветливым. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это был Гельмут Коль.

«Чем я могу вам помочь?» – спросил Немировскую Мертес, красивый мужчина с обаятельной мягкой улыбкой, из окна офиса которого на втором этаже была видна все та же скульптура Генри Мура. «Приезжайте выступать к нам в Школу», – сказала Лена. И ни разу после этого не пожалела. Михаэль Мертес, сын немецкого дипломата, одно время госминистра в министерстве иностранных дел ФРГ Алоиза Мертеса, в детстве, в 1960-е годы как сын дипломата проживший в Париже и Москве, выпускник Лондонской школы экономики, переводчик Шекспира и Джона Донна на немецкий язык, будущий представитель в немецкой столице земли Северный Рейн-Вестфалия и Фонда Конрада Аденауэра в Израиле, автор речей Коля, превзошел все ожидания. И стал близким другом основателей Школы.

Первая его лекция, прочитанная в мае 1994 года, вошла затем в книгу, которую собрал Сенокосов и которая существует только на русском языке. Книга называется «Немецкие вопросы – европейские ответы», а та самая первая лекция – «Просвещенный патриотизм и национализм». Саму книгу открывает очень важный эпиграф из одного выступления Томаса Манна послевоенного времени, где он говорит о необходимости движения «не к германской Европе, но к европейской Германии». Вся работа Мертеса – об этом: «Когда в мае 1994 года я был впервые приглашен на семинар Московской школы политических исследований, мне хотелось рассказать российским коллегам о том, как мы, немцы, преодолевали свое нацистское прошлое... И единственное, что здесь требуется, это терпение. А теперь добавлю, что, видимо, каждой развивающейся демократии необходимо в таком случае то, что можно на-

звать “гражданской религией”, – то есть общее согласие о допустимых и недопустимых формах гражданского урегулирования конфликтов».

Эта книга – невероятной глубины. Возможно, потому, что Мертес, обладая европейско-немецкой культурой и сформировавшись уже в годы зрелой ФРГ, основой идентичности которой был, помимо экономического чуда, отказ от Sonderweg, особого пути, как советник человека, объединявшего Германию, соотносил теорию с практикой, социокультурный анализ Германии с участием в принятии принципиальных решений рубежа 1990-х годов. Мертес действительно человек действия. Например, музеи Холокоста на территории Германии – это во многом результат его усилий.

Я лишь однажды беседовал с Михаэлем Мертесом – сначала в ресторане, а затем в номере Сенокосовых в берлинской гостинице «Зюльтерхоф», расположенной строго на том месте, где в годы войны находился офис Адольфа Эйхмана, того самого, из арендтовской «Банальности зла», соавтора проекта «окончательного решения еврейского вопроса». И не зная, кто этот приятный респектабельный господин в джинсах и пуловере, принял его за израильянина, потому что об Израиле он говорил как о своем доме, а на самом деле он просто там жил, будучи руководителем представительства фонда Аденауэра. Спустя год или два я слышал его выступление на Берлинском форуме, посвященном универсальным ценностям. Он рассуждал о том, что само понятие «универсальные ценности» противоречиво по определению, это оксюморон. И повернул разговор в неожиданную сторону: о значении государства в деле сохранения демократических ценностей – в том смысле, что не «провалившееся», нормально функционирующее и обеспечивающее rule of law, «пересозданное» государство в состоянии сыграть положительную роль. Никакая наднациональная структура в сегодняшних обстоятельствах с этой функцией не справится.

Но масштаб книги мне показался едва ли не равным публицистике Ханса Магнуса Энценсбергера, а некоторые фрагменты напомнили лучшие места из переписки Томаса Манна. Сам Мертес тонко чувствует жанр эссеистики – он подарил своему брату Клаусу, рабо-

тавшему директором ряда иезуитских гимназий, книгу отца Александра Меня, и в результате состоялось немецкое издание «Сына человеческого».

«Немецкие вопросы...» – это увлекательное путешествие по тайникам немецкого разума, интеллектуальный детектив о приключениях германской идеи в исторических декорациях. Что вынуждает Мертеса всякий раз возвращаться к национализму и национальной мифологии разных времен. Спичрайтер Коля как в анатомическом театре показывает политическую культуру Германии в разрезе, подробно демонстрируя, в том числе, как рождалось само решение об объединении разделенной страны.

Эти «уроки немецкого», особенно когда Мертес анализирует свойства коллективной памяти, напрямую касаются России, чье современное политическое бытие во многом определяется прошлым: «Индивидуальная и коллективная идентичность определяются прежде всего тем, как мы представляем себе самих себя. Интерпретация прошлого – неотъемлемая часть именно такого самовосприятия. Отсюда понятное желание сделать так, чтобы наше реальное представление о себе совпало с нашим идеальным представлением». «Общая оценка прошлого, – пишет Михаэль Мертес, – центральный элемент национальной идентичности... Диктаторы всего мира знают, что контроль над памятью народа означает контроль над народом вообще». И когда идет поиск виноватых – это дурной признак, потому что «демократия – это отсутствие попыток найти виноватых на стороне». Расколота память ищет основу для национальной идентичности, но при этом «ни одно правительство не имеет права навязывать гражданам какую-либо свою интерпретацию национальной истории».

Чтение Мертеса поучительно. Полезно вспомнить сравнительно недавнюю историю – хотя бы в контексте миграционного кризиса в Европе и роста ультраправых настроений. Мало кто сейчас вспоминает противника Гельмута Коля на рубеже 1990 года – Оскара Лафонтена. Между тем в его антииммиграционной риторике эксплуатировался, по определению Мертеса, «западнонемецкий шовинизм благосостояния». А его кампания была направлена против... нет, не

мигрантов с юга, а переселенцев, «понаехавших» с востока – восточных немцев.

История редко учит. Но история многое объясняет.

МШПИ на самом деле интернациональное явление – по ее образу и подобию во многих странах, в основном Восточной Европы и бывшего СССР, были созданы Школы политических исследований и зарегистрирована в Страсбурге Ассоциация школ при Совете Европы, президентом которой является Катрин Лалюмьер.

Многие из нынешних руководителей Школ – ученики Лены и Юрия Петровича. Как, например, Армаз Ахвледиани, возглавляющий Тбилисскую школу. Она построена им в организационном плане жестко и четко, в Школе – молодые, мотивированные, европейские грузины, но при этом с неисчезающей культурной самобытностью. А особая связь именно этой Школы с Москвой – это память о Мерабе Мамардашвили и поддержка Армазом Изы Мамардашвили. Тбилиси был и остается вторым теплым домом для Лены и Юры.

Схожий феномен – Алтайская школа. Об эволюции этого одного из региональных проектов рассказывает Владимир Рыжков: «Когда я попал в первый набор МШПИ в 1993 году, я работал заместителем губернатора Алтайского края. И был тогда самым молодым вице-губернатором страны (26 лет). В декабре 1993 года я был избран депутатом первой Государственной думы от гайдаровского блока “Выбор России”. Тогда же на кухне у Лены и Юры мы придумали провести семинар Школы на Алтае, а я вызвался все организовать. Летом 1995 года провели первый алтайский семинар; звездными экспертами из Москвы стали Геннадий Бурбулис и Алексей Салмин, а ведущим западным мыслителем был Эрнест Геллнер. Геллнер ходил с палочкой. Он обходил с ее помощью берега живописного озера Ая в горах Алтая. А с Бурбулисом мы азартно гоняли в футбол по кочковатому полю соседнего пионерлагеря.

Второй семинар прошел также на озере Ая летом 1996 года. Я вновь все организовал, но сам не приехал – шла президентская кампания, Ельцин сражался с лидером коммунистов Зюгановым, а я работал в тот год в ельцинском избирательном штабе.

Времена были либеральные, и слушателями алтайской школы были главы городских и районных администраций, депутаты алтайского крайсовета, партийные лидеры, ученые и общественники. Сейчас такое уже невозможно.

С тех пор алтайская школа стала традицией. Мы проводим в Барнауле ежегодные летние политологические конференции уже 21 год, без перерыва. Летний алтайский форум получил за эти годы большую известность. Алексей Салмин прилетал на Алтай почти каждый год. Как-то раз он сломал на мокрых камнях Катуня ногу, и ему пришлось возвращаться в Москву в гипсе. Московские врачи удивились – так качественно был наложен гипс в республиканской больнице Горно-Алтайска...

Алтайская конференция стала важным делом для алтайской общности. У нее сложился постоянный круг участников».

В Школе не происходит смены поколений в «спортивном» смысле слова, когда на место ветеранов приходят «честолюбивые дублеры». Ключевые фигуры прошлых лет, которые имели значение для МШПИ и в 1990-е, и в «нулевые», и в «десятые» годы активны – помогают Школе с европейскими семинарами, выступают и сами. Евгений Гонтмахер, Татьяна Ворожейкина, Николай Петров, Наталья Зубаревич, покойный ныне Борис Дубин, многие другие... Тем не менее, Немировская и Сенокосов ищут и находят новых экспертов. «Новые люди всегда появлялись вовремя, естественным образом», – говорит Лена.

В последние годы в Школе появились и закрепились, условно говоря, «сорокалетние» звезды – Максим Трудолюбов, Федор Лукьянов, Кирилл Рогов, Михаил Фишман, Борис Грозовский, Василий Жарков. Лена и Юрий Петрович способны устроить встречи с удивительными людьми, которых давно не видел. Надо было ехать за тридевять земель на один из семинаров Школы, в Оксфорд, чтобы, например, встретить своих бывших соседей по кабинету в газете «Известия» (когда она еще была настоящей газетой) – журналистов-расследователей Иру Бороган и Андрея Солдатова, авторов книги о КГБ-ФСБ «Новое дворянство» и об «отно-

шениях» власти и Интернета в России «The Red Web». Это другой стиль выступлений – неакадемический, другие темы – современные и в то же время традиционные – шпионы, прослушки, сети, другие знания – о том, как устроена еще одна сфера противостояния государства и свободы.

На том же семинаре обнаружилась редкая возможность повидаться живьем, а не по скайпу с Сергеем Гуриевым. Который, как и многие другие старые и новые эксперты, не может отказать Лене в выступлении. Это очень короткая встреча (у Сергея были запланированы еще две лекции в университете) и очень важная для всех. С некоторых пор я стал возить на семинары Школы своего сына Васю, вошедшего в почти юношеский возраст, и ему крайне интересно было послушать на близкие любому юноше сетевые темы Бороган и Солдатова, и одного из лучших и самых внятных экономических лекторов Сергея Гуриева. Днем раньше Васе исполнилось пятнадцать. И веселый и похудевший Гуриев, на котором костюм висел, как на вешалке – словно с чужого плеча, притом что в скором времени ему предстояло сменить профессорский «кэжьюал» на строгую одежду, свойственную главному экономисту Европейского банка реконструкции и развития, напомнил историю Адама Михника, который уже в 15 лет присоединился к польскому диссидентскому подполью. Не могу сказать, что именно такой судьбы я как отец желал бы своему сыну, но... Познакомиться в этом возрасте с Гуриевым и послушать его – не самое бесполезное в жизни дело. И теперь такое возможно только в Школе.

Почему все эти люди стали интенсивно сотрудничать со Школой? Почему возникало это самое «избирательное сродство» душ? Почему с ней охотно сотрудничали – не за деньги, даже не за идею как таковую, а за радость и надежду просвещения столь разные люди – россияне и иностранцы, бизнесмены и журналисты, социологи и экономисты, политики и дипломаты? Почему возник круг Школы? Почему ее вспоминают даже те, кто от нее отошел? Понимая всю ограниченность просвещенческих усилий, понимая, что эта работа не из легких, Лена и Юрий Петрович продолжают ее вести,

а подводя промежуточный итог, задаются всеми этими вопросами. И сами ощущают этот итог как некое чудо.

«Откуда эта симпатия, естественность в общении, отсутствие барьеров с еще минутой назад незнакомыми людьми, которые сразу становились друзьями на годы вперед? – рассуждает Сенокосов. – Не могу сейчас вспомнить, с чего, собственно, началась дружба, например, с Эрнестом Геллнером, который появился у нас и в результате прожил больше трех месяцев? Помню, как он по своей инициативе наступал тут, лежа на диване, на пишущей машинке текст для первого номера нашего журнала. Неделю жил Рэйф Файнс – и с этого началась дружба, причем с языковым барьером, когда я с ним в основном объяснялся жестами и восклицаниями – ему наш адрес дала дочь бывшего английского посла в России Родрика Брейтвейта.

Или еще один наш с Леной близкий друг – Гарольд Берман, выдающийся американский юрист. Вспоминая его, я продолжаю поражаться тому, как человек в его возрасте – он умер в 2007-м, когда ему было 89, – на протяжении последних десяти лет, не задумываясь о расстоянии между Атлантой и Москвой, появлялся регулярно на наших семинарах, одетый в светло-серый костюм, сосредоточенный и открытый к общению, демонстрируя образец гражданской и личной ответственности. И участники семинаров видели и чувствовали, что он любит Россию и интересуется ею не только как ученый-юрист. Мы с Леной знали о его дальних семейных связях с дореволюционной Россией; знали, что во время Второй мировой войны он служил в американской армии и уже тогда слышал о сталинских репрессиях и терроре, но это не влияло на его отношение к современной России. Будучи гражданином мира, он считал, что кроме морали и политики в развитии права присутствует еще третий элемент – история. Он писал об этом в своей книге, изданной Школой, «Вера и Закон: примирение права и религии»: наша коллективная универсальная память об опыте двух мировых войн составляет тот исторический фундамент, на котором строятся моральный и политический элементы формирующегося права человечества».

Действительно, что заставило Геллнера, передвигавшегося на костылях, да еще сломавшего руку за день до вылета в Москву на самый первый семинар Школы, все-таки приехать в «Лесные дали» и прочитать лекцию? Или – Бермана?.. Никаких договоров, никаких обязательств – только дружеские отношения, желание понять Россию.

И главное, эти люди не просто появлялись и жили в квартире на Кутузовском. Она стала их московским домом – для Геллнера, Файнса, Сульмана, Брейтвейта. Несколько месяцев жила здесь Энн Эпплбаум, которая писала, уезжала в командировки, готовя рукопись книги в 38 авторских листов, ставшей потом знаменитой – «ГУЛАГ. Паутина Большого террора». Где есть благодарности хозяевам дома «за дружбу, за мудрые замечания, за гостеприимство и хлебосольство..., у которых я чудесно провела время в Москве».

«Все нам хотели помочь, – вспоминает Лена, – всем это казалось важным и интересным».

А что двигало Франсуа Мишленом, мировым производителем шин, который приехал – прилетел на своем самолете! – на одну ночь в Голицыно, чтобы выступить и пообщаться с молодыми людьми? Почему Доминик Моизи постоянно рекомендовал для МШПИ новых экспертов? Значит, ему было интересно... Какая сила приближала к Школе посвятившую себя России испанскую журналистку, с 1984 года работающую здесь корреспондентом El País Пилар Бонет? Любовь к Лене и Юре, которые о ней говорят: «Она нам сестра. И даже больше». Почему поддерживают Школу предприниматель и бывший депутат Госдумы Сергей Петров или бывший министр финансов Михаил Задорнов? Лена и Ю. П. с большой теплотой и благодарностью относятся к Александру Волошину, который уже больше десяти лет возглавляет Совет директоров Школы. Почему лучшие европейские умы считали необходимым и приятным для себя составить круг экспертов Школы? И втянутые в этот круг – остались в нем?

«Все хотели, чтобы Россия была современной европейской страной», – говорит Немировская.

Возможно, это и есть главный успех Школы – хотели перенести дружеские разговоры и постижение действительности, свою среду с кухни на Кутузовском в более широкое пространство, найти способ продолжения свободной жизни в свободной среде – и получилось... Естественным образом возникает вопрос: вот уйдут эти люди, которые составляли ядро МШПИ – и что дальше? Но происходит смена поколений, точнее даже – дополнение поколений, и Школа продолжает жить.

Вот, просто для примера, к вопросу о смешении поколений один из последних семинаров в Голицыно – до объявления Школы «иностранным агентом» – июль-август 2014 года. Набор (неполный) спикеров – посетителей «кухни» и подмосковных круглых столов: Анатолий Адамишин, Михаэль Сульман, Андрей Захаров, Сергей Петров, Лев Гудков, Михаил Задорнов, Леонид Гозман, Джеффри Хокинг, Владислав Иноземцев, Ирина Ясина, Дмитрий Зимин, Екатерина Шульман, Игорь Минтусов, Нил Макфаркуар, Дмитрий Тренин, Борис Макаренко, Кшиштоф Занусси, Сесиль Вессье, Михаил Федотов, Арсений Рогинский, Вячеслав Бахмин, Тамара Морщакова, Георгий Сатаров, Елена Панфилова, Роберт Скидельски, Людмила Алексеева, Владимир Войнович, Андрей Бабицкий.

...В том августе было очень жарко, живо и здорово, как всегда, впрочем. Лена получила тогда польскую награду – Кавалерский крест ордена «За заслуги». И мы обсуждали, как лучше перевести название ордена с польского языка.

И какие лица...

Какие роскошные выпуски, и не только из числа первых. Сколько знаменитых – и очень разных, в том числе по карьерным траекториям – выпускников. От Татьяны Нестеренко, Ларисы Мишустинной и Ирины Яровой до Владимира Рыжкова, Валерия Сухих, Андрея Захарова, Федора Луковцева, Валерия Покорняка, Льва Шлосберга. И сколько замечательных школьных историй. Маргарет Тэтчер спрашивает Владимира Рыжкова: «А вы кто по профессии?» – «Я политик». – «А я – химик».

И сколько в то же самое время разочарований. «Когда многие из них рванули в партию власти, – вспоминает Юрий Петрович, – это

было ожидаемо, но, конечно, задело нас. И закон об иностранных агентах, убивающий Школу, тоже был инициирован и поддержан некоторыми нашими же выпускниками».

И одновременно, сразу после принятия закона, взволнованный вопрос Александра Аузана и Александра Архангельского «Что будем делать?». «Это дорогого стоит, – говорит Ю. П. – что оба блестящих школьных эксперта так лично восприняли это событие».

И в это же время Людмила Алексеева настойчиво убеждает членов жюри премии Егора Гайдара выбрать Лену в качестве лауреата между двумя такими претендентами, как Олег Басилашвили и Лия Ахеджакова. Чтобы поддержать Школу!

«Уже поздно», – повторяет фразу Мераба Мамардашвили Юрий Петрович. В том смысле, что уже до нас все случилось. И продолжает: «Плохое и хорошее, злое и доброе. Мы в потоке жизни, в котором оказываемся после рождения, не зная себя. И когда пытаемся разобраться в этом потоке и в себе, с этого и начинается наша ответственность. Наше второе рождение – формирование личности, способной преодолеть страх, чувство вины, мести, обиды, зависть».

Моральная поддержка важна. Но не только моральная. Вот, например, Александр Согомонов и Андрей Захаров – специальные школьные люди. Когда кухня МШПИ была мне не слишком знакома, они казались ее талисманами. Совершенно разные. Согомонов моторный и эмоциональный, Захаров, сдерживающий эмоции за надменно-ироничной джентльменской маской. Много лет они создавали атмосферу и биосферу Школы, модерировали выступления и вели круглые столы. «Мы придумывали формат и приглашали человека под формат», – объясняет Сенокосов. Форматы Школы существуют уже, можно сказать, десятилетиями. Во многом потому, что Согомонов и Захаров адекватны этим неумирающим форматам, и наоборот. Это в некотором смысле результат селекционной работы Юрия Петровича и Лены. Например, о Согомонове они вспомнили, когда нужно было профессионализировать ведение дискуссий. «Впервые я увидел Сашу, кажется, в 1989 году на конференции, посвященной Питириму Сорокину, в Институте социологии. Он тогда та-а-к ярко и интересно выступал!» – вспоминает Ю. П.

И, конечно, нужно назвать поименно сегодняшнюю «звездную команду» Школы. Это профессионалы, верящие в ее миссию и ценности просвещения: Светлана Аристархова, Лев Балинер, Инна Березкина, Анастасия Гонтарева, Марина Ефремова, Сергей Максимов, Наталья Раздаева, Марина и Степан Скориковы, Светлана и Александр Шмелевы, Татьяна Хильченко, Ольга Козак.

Арсений Рогинский, выступая в марте 2016 года на совместном семинаре международного «Мемориала» и Школы, говорил о том, что преследования независимых организаций начались с огосударствления прессы. А с 2004–2005 годов, когда у власти сформировался страх перед цветными революциями, настал черед общественных организаций – «за ними началась охота», потому что «группа – это то, что всегда пугало Советскую власть» и пугает власть нынешнюю. В 2005–2012 годах НКО выдавливались в результате жесткого контроля и усложнения отчетности. Именно тогда, не справившись с административным давлением, погибли многочисленные небольшие структуры. А после 2012 года, с начала нового политического цикла, было принято более 30 законов, которые можно назвать или политически мотивированными или даже репрессивными. И среди них как раз закон об иностранных агентах.

«У эзков есть поговорка, – объяснял Арсений Рогинский, – она звучит так: “А что менты о нас говорят, так это нам по ...”. Однако лагерь – это ограниченное число людей. А когда о вас на всю страну говорят, что вы иностранный агент, то есть шпион – это чудовищное унижение».

Еще один инструмент – неопределенное толкование «политической деятельности», занятие которой – один из признаков агента. Когда Совет по правам человека попросил Минюст конкретизировать это понятие, в ответ получил его максимально расширительное толкование.

С самим «Мемориалом» долго боролись, требуя изменить уставные документы. Потом, отбросив казуистику, тоже объявили иностранным агентом...

Первой же организацией, в которую пришла в 2013 году с проверкой прокуратура в рамках исполнения закона об иностранных агентах, была МШПИ. Не правозащитная, а просветительская организация. Почему так? У Рогинского есть четкое объяснение. Потому что «главный фронт для власти – это головы людей, интеллект, мировоззрение».

Проверкой руководила женщина-прокурор, которой не было и сорока лет. Офис Школы – весьма скромный. На полках стоят книги, изданные Сенокосовым. Ни одна самая недоброжелательная ищайка не смогла бы самостоятельно сформулировать, в чем, собственно, вред от Школы для государства, отношения в котором должны регулироваться демократической Конституцией РФ 1993 года. Даже президент России Владимир Путин в свое время к десятилетию Школы прислал поздравление: слушатели «имеют возможность услышать экспертов мирового уровня и открыто обсуждать с ними самые актуальные проблемы политической и экономической жизни... Школа сегодня – это просветительский объединяющий центр, где отстаиваются ценности демократии и общественного служения, воспитывается уважение к закону, моделируются инновационные решения». Лучше не скажешь...

И вот здесь мы подходим к главному, не только к причинам претензий к некоммерческим организациям, но к сути устройства политического режима, который сложился в России к 2012 году. Завершив проверку, прокурор спросила: «Объясните мне, пожалуйста, если вы такие хорошие, то почему вы не государственные?».

Это, скажем так, априорная, заведомая государствоцентричность: все от государства, все для государства, все под государством, ничего помимо государства.

Школа не сдавалась. Пыталась выжить. Для начала предпринимались усилия, направленные на то, чтобы не попасть в реестр иностранных агентов. Разумеется, это ни к чему не привело.

История с объявлением Школы «иностранным агентом» – беспрецедентна, поскольку абсолютно антиправовая. И юридическими средствами, адвокатской изощренностью на нее не ответишь. Разумеется, когда тебя бьют исподтишка бывшие ученики и даже члены

управляющих структур, адекватно ответить невозможно. Это в чистом виде право сильного. Сильного, который убежден, что в сфере неконтролируемой общественной активности нужно оставить выжженное поле, превратить гражданское общество в катакомбное. Во времена, когда Школа еще пыталась бороться за избавление от статуса агента, тогдашний омбудсмен Владимир Лукин и Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд говорили о Школе с Путиным. Он сказал: «Разберемся!». И что характерно – действительно разобрались...

И тем не менее... Гражданское общество в России неубиваемо. Даже если позакрывать все на свете и закатать в асфальт – трава гражданских инициатив все равно пробьется, репрессивные законы будут не без потерь, но обойдены, а в недрах катакомбного общества родится, как нас учит эксперт Школы Пьер Розанваллон, новая легитимность, по мере того, как государство эту легитимность теряет.

Лена и Юрий Петрович живут в состоянии постоянных перелетов. Конечно, новые коммуникативные технологии очень важны, но основатели Школы предпочитают самую внятную из коммуникаций – личное общение. Возможно, Школа именно потому так долго и эффективно существует, что они не ленятся прилететь, поговорить, обсудить детали – организационные, содержательные, если угодно, философские. Пользуются они самыми простыми мобильными телефонами, вроде совсем маленькой по размеру «Нокии» – теперь таких и не найдешь.

От постоянных перелетов, переездов и джетлагов у Юрия Петровича сбились внутренние часы: «Просыпаюсь в четыре утра и думаю... Стал тут считать, думал, мне скоро 76, а пересчитал – оказалось, будет 78». Мне и самому показалось это странным: ищу в Ю. П. признаки этого возраста – и не могу найти. Лена же и вовсе постоянно оказывается в полете. Господи, думаю я, откуда силы? И, несмотря на невероятные разочарования последних лет, которые перечеркивают едва ли не всю жизнь, едва ли не все усилия, эта способность никогда не сдаваться?

Что держит? Игра до последней секунды, где «пораженья от победы ты сам не можешь отличить»? Поколенческая закваска? Но тогда эти люди – едва ли не самые сильные в своем поколении. В этом, возможно, причина притяжения к ним, причина «школьной гравитации». А история Школы – это разговор о Лене и Юрии Петровиче, об их опыте взросления и свободной жизни при любом политическом режиме, о том, как эти люди любят друг друга, поддерживают друг друга, восхищаются друг другом. Об их поколении, одним из лучших продуктов которого стала Школа, живущая в книгах, идеях, выпускниках, экспертах, в свете лампы над круглым столом в гостиной дома Сенокосовых.

Просвещение, безусловно, свет. В том числе и человеческой личности. Каждый, кто общался с Леной и Юрием Петровичем, в терминах Бродского, «был залит светом». Но просвещение – это еще и груз. Если угодно – камень. Он падает в воду, а по воде идут круги. Которые вроде бы исчезают со временем. А на самом деле – нет. Ничего в этой жизни не исчезает.

Что держит? Держит свобода. Опыт свободной жизни.

...Пройти через их двор на Кутузовском, похожий по архитектуре, духу времени и гулкому эху от чирикающих воробьев и воркующих голубей на мой двор из раннего детства на Ленинском проспекте. Нажать три цифры на домофоне. Услышать голос Юрия Петровича, ответить: «Свои!» – получить подтверждающую реплику: «Давай!» Пройти мимо в который раз – и сколько лет! – всепонимающей консьержки. Пройти по кафелю 1960-х к их двери, войти в узкую прихожую.

И быть залитым светом.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абакумов Виктор 12
Августин Святой 125
Адамишин Анатолий 74, 182
Аджемоглу Дарон 101
Аквинский Фома 116
Аксельрод Альберт 27
Александров Георгий 13
Алексеева Людмила 166–169, 182, 183
Аллилуева Светлана 83
Алтынай Хакан 157
Альенде Сальвадор 66
Альгюссер Луи 74, 162
Аннинский Лев 107
Антоний, митрополит Сурожский 39
Арбагов Георгий 57, 59
Арендт Ханна 117, 128
Аристотель 85
Арон Раймон 48
Арто Антонен 77
Аснар Хосе Мария 154
Аснер Пьер 165
Ассизский Франциск 155
Аристархова Светлана 184
Архангельский Александр 183
Аузан Александр 183
Ахведиани Армаз 177
Ахеджакова Лия 183
Ахматова Анна 22
Ахутин Анатолий 105
Ашшурбанипал 34

Бабицкий Андрей 182
Балинер Лев 184
Барабанов Евгений 31, 37, 43–44, 52, 104–105, 107–108
Басилашвили Олег 183
Баталов Алексей 146
Бахмин Вячеслав 182
Бахтин Михаил 41
Бендукидзе Каха 135
Бжезинский Збигнев 143–144
Боголюбова Галина 51
Беллоу Сол 15
Бельфруа Пьер 57, 73, 75, 79
Бердяев Николай 31, 33, 34, 52
Березкина Инна 184
Берия Лаврентий 12, 21
Берман Гарольд 180–181
Беркоу Джон 141
Берлин Исая 99, 102
Бернес Марк 28
Биллингтон Джеймс 38
Богораз Лариса 168
Болтон Мэттью 93
Бонет Пилар 181
Борисов Дмитрий 104
Бороган Ирина 2, 178–179
Брежнев Леонид 56, 68
Брейтвейт Джилл 160–161
Брейтвейт Родрик 10, 160–161, 180–181
Бриттен Вера 162
Бродский Иосиф 77
Бубер Мартин 47
Буденный Семен 146
Будда 128
Букалов Алексей 22
Булатов Эрик 18
Булгаков Сергей 31, 105
Бурбулис Геннадий 177
Буров Андрей 5
Бьюкенен Джордж 161

Верн Жюль 33
Вернадский Владимир 122
Весье Сесиль 182
Виейра Хильберто 59–61
Войнович Владимир 182
Войтич Деметрио 83
Волков Александр 59
Волкова Паола 78
Волошин Александр 181
Волошин Максимилиан 173
Ворожейкина Татьяна 110, 178
Высоцкий Владимир 70, 132
Гайдар Егор 113, 149, 160
Гайденко Пиама 137
Галардон Луис 154
Галилей Галилео 136
Галич Александр 31, 36, 70
Гамсахурдиа Звиад 74, 80
Гандольфо Мади 26
Гати Тоби 143
Гати Чарльз 143
Гегель Георг 39
Геллнер Эрнест 99–102, 113, 133–134, 138, 177, 180–181
Гениева Екатерина 35
Генисаретский Олег 104
Герцен Александр 77
Герье Владимир 21
Герье Софья 21
Гете Иоганн Вольфганг 140
Гинзбург Виталий 21
Гинзбург Нина 21
Гогоберидзе Лана 79
Гогоберидзе Леван 79
Гозман Леонид 182
Голицын Василий 139
Голомшток Игорь 33
Гольшев Виктор 142
Гольбах Поль Анри 138
Гонтарева Анастасия 184
Гонтмахер Евгений 178
Гопкинс Джон 143
Гор Эл 163
Гораций 137
Горбачев Михаил 63, 112, 160–161
Грасс Пюнтер 101–102
Греков Виктор 64
Греф Герман 46
Григулевич Иосиф 65–66
Гримау Хулиан 153
Гришин Виктор 55–56
Грозовский Борис 178
Гройс Борис 80, 105
Грушин Борис 18, 25, 39, 57, 63
Гудков Лев 182
Гулыга Арсений 39, 40, 136
Гуревич Арон 39, 136
Гуриев Сергей 179
Гусейнов Гасан 105
Гуттузо Ренато 22

Д'Анкокс Элен Каррер 106, 134
Давидович Сильвана 79
Дадян Марк 142
Даль Владимир 48
Даниэль Юлий 39
Дарендорф Ральф 99, 101–102, 132, 140, 157
Дашевский Григорий 142
Деготь Екатерина 105
Декарт Рене 72, 81, 112
Делоне Вадим 30
Демичев Петр 56
Демулен Жером 111
Джонсон Линдон 163
Де Дзулиани Мариолина Дория 77
Добровольская (Бриль) Юлия 8, 19, 20–26, 74
Добровольский Александр 21
Долматовский Евгений 13
Дондурей Даниил 104
Достоевский Федор 49
Драгунский Денис 50, 105, 171
Дубин Борис 178
Дудко Дмитрий 37
Дунаевский Исаак 13
Дымарский Виталий 57, 164
Дымарский Наум 164

Егорычев Николай 55
Екатерина II 27, 33, 115
Елизавета II 161
Ельцин Борис 111, 160, 177
Ефремова Марина 184

Жарков Василий 178
Жванецкий Михаил 27
Жданов Андрей 83
Жданов Юрий 83

Загот Михаил 142
Задорнов Михаил 181, 182
Замошкин Юрий 55
Занусси Кишиштоф 182
Зародов Константин 57, 61
Захаров Андрей 113, 163, 182, 183
Захаров Марк 17, 27

Зерчанинов Юрий 17, 18, 25
Зимин Дмитрий 182
Зиновьев Александр 18, 39, 49, 72, 74, 78
Зубаревич Наталья 178
Зюганов Геннадий 177

Иаков Святой 155–156
Иван Грозный 136
Иванов Вячеслав 35, 41
Ивашкины Александр и Наталья 18
Ильенков Эвальд 72
Ильичев Леонид 30
Инфанте Франциско 18, 83–84
Иноземцев Владислав 182
Иоанн Богослов 155
Иоанн Павел II 155
Ионин Леонид 107
Иоселиани Отар 8, 18
Искандер Фазиль 17, 18

Кабаков Илья 18
Кадыров Ахмат 152
Казачков Александр 142
Кант Иммануил 15, 39, 72, 76, 89, 96–98, 172
Кантор Владимир 52
Кантор Карл 56
Капитонов Иван 12
Капица Петр 42
Кара-Мурза Алексей 139
Карпинский Лен 108, 110
Карякин Юрий 57, 108
Кацнельсон Айра 164
Кедров Бонифатий 56
Кейнс Джон Мейнард 8, 140
Кеннеди Джон 163
Киселев Геннадий 142
Кириленко Андрей 55–56
Киссинджер Генри 144
Клинтон Билл 143, 163
Козак Ольга 184
Колесников Андрей 88, 169–170
Колесников Василий 170
Коль Гельмут 157, 173, 176
Кон Игорь 137
Конрад (Немировская) Татьяна 26, 48, 67, 104, 111, 159
Константинов Федор 41

Конфуций 128
Коперник Николай 136
Копнин Павел 56
Кормер Владимир 8, 18, 31, 33–34, 40, 43–54, 66, 75, 79, 99, 144
Корнилов Владимир 29, 107
Корьюс Милица 11
Космодемьянская Зоя 13
Красин Виктор 39
Крастев Иван 120, 140, 157, 164–166
Крыса Олег и Татьяна 18
Кулибин Иван 92–93
Кулистиков Владимир 110
Кундера Милан 116
Курбский Андрей 139
Кушнер Александр 148
Кэтлин Джордж 162

Лалюмьер Катрин 111–113, 118, 121, 132, 177
Лангер Сьюзен К. 24
Ландау Лев 21
Лао-цзы 128
Лафонтен Оскар 176
Лацис Отто 57–58
Левада Юрий 18, 39, 40, 55, 66, 137
Леви Марсия 159
Леви-Стросс Клод 41
Лефор Клод 106–107
Лидов Петр 13
Ллойд Джейкоб 159
Ллойд Джон 140, 157–159
Локк Джон 95–97
Лосев Алексей 41, 66
Лотман Юрий 169
Лопес Браво Грегорио 153
Лихачев Дмитрий 41
Лужков Юрий 161
Лукин Владимир 57–59, 112, 186
Луковцев Федор 182
Лукьянов Федор 178
Луман Никлас 102
Любимов Юрий 26

Макаренко Борис 182
Макаркин Алексей 2, 4
Макиавелли Никколо 106
Максимов Сергей 184
Макфаркуар Нил 182

Макьюэн Иэн 142
Мамардашвили Алена 83
Мамардашвили Иза 69, 76–80, 177
Мамардашвили Мераб 1, 4, 8, 15, 18, 19, 23–26, 34, 40, 42, 49, 57, 66–85, 90, 99–100, 107, 112, 119, 124–125, 127, 130–131, 134, 140, 162, 177, 183
Мандельштам Надежда 36
Мандельштам Осип 28, 94
Манн Томас 158, 175
Маньковский Борис 39, 94
Маркс Карл 63, 72, 136
Маритен Жак 116
Маяковский Владимир 94
Медведев Дмитрий 46, 168
Меерсон-Аксенов Михаил 31, 43
Межуев Вадим 40, 76
Мень Александр 4, 8, 18, 31, 32–38, 43, 52, 67, 69, 81–82, 107, 176
Мерло-Понти Морис 106
Мертес Клаус 175
Мертес Михаэль 157, 173–177
Милицанд Дэвид 141
Милуков Павел 93
Минтусов Игорь 182
Мионов Андрей 17
Митин Марк 56
Митрохин Николай 36, 37
Миттеран Франсуа 111
Михник Адам 179
Мишлен Франсуа 181
Мишустина Лариса 113, 182
Моизи Доминик 111–112, 134, 138, 163, 173, 181
Монне Жан 114–115, 117–118
Монтень Мишель 85
Монтескье Шарль 95, 114, 172
Моруа Пьер 111
Морщакова Тамара 182
Музиль Роберт 74, 94

Мунц Елена 51, 79
Мур Генри 174
Мэйджор Джон 160–161

Набоков Владимир 72, 79
Неизвестный Эрнст 76, 148
Некрасов Николай 94
Немировская Полина 15
Немировский Михаил 10–12, 14–15
Немцов Борис 32
Нестеренко Татьяна 182
Нин Андрес 66
Нобель Альфред 146
Нойштадт Ричард 162–164
Норт Дуглас 101
Ньюберг Рене 147–148

Оккам Уильям 125
Окуджава Булат 70
Окуневская Татьяна 13
Орешин Борис 30
Ортега-и-Гассет Хосе 157
Островский Александр 77

Павловский Глеб 110
Пайпс Ричард 27, 144–145
Пальме Улоф 147
Панфилова Елена 182
Петр I 95
Петров Николай 178
Петров Сергей 181, 182
Петрова Наталья 142
Печенев Вадим 58
Пинто Диана 111, 134, 163
Платон 98
Плигин Владимир 143
Плимак Евгений 137
Покорняк Валерий 182
Ползунов Иван 92
Поллити Марко 160
Померанц Григорий 30, 39
Пономарев Борис 65
Попова Нина 10–12, 16
Поппер Карл 100, 102
Посошков Иван 139
Пропп Владимир 20
Пуле Жорж 77
Пруст Марсель 72, 77, 79, 82
Путин Владимир 114, 136, 144, 168, 185

- Раздаева Наталья 184
 Ракитов Анатолий 137
 Рассадин Станислав 29
 Рассел Бертран 120
 Расторгуев Андрей 35
 Рид Майн 33
 Робинсон Джеймс 101
 Рогинский Арсений 12, 169–173, 182, 184
 Рогов Кирилл 178
 Родари Джанни 22
 Розанваллон Пьер 106–107, 134, 186
 Розанов Василий 85
 Розовский Марк 27
 Рубин Виталий 30
 Рузвельт Франклин 164–165
 Рузер Сергей 69
 Румянцев Алексей 55–57
 Рутберг Илья 27
 Рыжков Владимир 108–109, 113, 177, 182
 Рязанцева Наталья 78
- Салмин Алексей 108–110, 156, 177–178
 Салмина Мария 110
 Сартр Жан-Поль 106
 Сагаров Георгий 182
 Сахаров Андрей 42, 102, 146
 Семанов Сергей 56
 Семенов Николай 41–42
 Семенов Юрий 42
 Сенокосов Олег 42
 Серова Валентина 5
 Симонов Алексей 6
 Симонов Константин 5, 6
 Синявский Андрей 39, 146
 Скидельски Роберт 8, 140–141, 150, 182
 Скидельский Эдвард 141
 Скориков Степан 184
 Скорикова Марина 184
 Славкин Виктор 18
 Смирнов Александр 35
 Смирнов Андрей 107
 Смит Адам 89, 92, 96–97
 Согомонов Александр 183
 Сократ 98, 130
 Сокуров Александр 83
- Солдатов Андрей 2, 178–179
 Солженицын Александр 15, 36, 43–44, 52, 105
 Соловьев Владимир 34, 52
 Соловьев Эрих 62, 80
 Сорокин Питирим 183
 Сорос Джордж 65, 99, 102, 104, 142
 Сталин Иосиф 12, 25, 28, 58, 80, 167
 Старовойтова Галина 32, 103, 107
 Стацуря Юрий 13
 Степанов Лев 62
 Стоппард Том 67
 Струве Никита 39, 43, 52, 104–105
 Струве Петр 104, 144
 Стругацкие братья 172
 Суворов Лев 55–56
 Сульман Михаэль 8, 140–141, 145–148, 181, 182
 Сульман Рагнар 146
 Сульман Рольф 146
 Сульман Эва 145
 Сулягин Владимир 105
 Суперфин Габриэль 24, 67
 Суслов Михаил 55
 Сулова Майя 27
 Сухих Валерий 182
- Тарковский Андрей 28
 Тарковский Арсений 83
 Таршис Даниэль 139
 Таттицев Василий 139
 Тойнби Арнольд Джозеф 47
 Токвиль Алексис 106, 109
 Толстой Лев 35
 Трапезников Сергей 55
 Трауб Давид 170
 Тренин Дмитрий 182
 Трифонов Юрий 44
 Троцкий Лев 66
 Трудолюбов Максим 178
 Трумэн Гарри 163
 Тынянов Юрий 77
 Тэтчер Маргарет 160–163, 182
- Уатт Джеймс 92–93
 Уильямс Ширли 162–164
- Фаворский Владимир 5
 Фадеев Александр 14
 Фадин Андрей 38, 110
 Файнс Рэйф 142, 159, 180–181
 Федотов Георгий 30, 52
 Федотов Михаил 182
 Феллини Федерико 22
 Фирсов Борис 29
 Фишман Михаил 151, 178
 Флоракис Харилаос 59–61
 Флоренский Кирилл 41
 Фокин Валерий 51
 Фрага Ирибарне Мануэль 152–155
 Франк Семен 31, 136
 Франко Франсиско 152–154
 Францев Юрий 57
 Фролов Иван 18, 41, 42, 44, 49, 55–57, 63, 75
 Фюре Франсуа 106–107
- Хабермас Юрген 102
 Хайдеггер Мартин 41
 Хайт Зельма 78–79
 Хемингуэй Эрнест 20
 Хиль-Роблес Альваро 150–153
 Хиль-Роблес Хосе Мария 151, 155
 Хильченко Татьяна 184
 Хиришман Альберт 114
 Ховард Майкл 117–118
 Ходорковский Михаил 148
 Хоскинг Джеффри 107, 134, 182
 Хрущев Никита 12, 30
 Хрущева Юлия 27
 Хуан Карлос 151–153
- Цветаева Марина 85
- Чаадаев Петр 80
 Чаковский Александр 28
 Че Гевара Эрнесто 66
 Черненко Константин 58
 Черняев Анатолий 55, 57
 Чухонцев Олег 17, 21, 66
- Шаламов Варлам 36
 Шарден Пьер Тейяр 122
- Шахназаров Георгий 57, 63
 Шеварнадзе Эдуард 161
 Шепилов Дмитрий 13
 Шестов Лев 105, 116
 Шиманов Геннадий 36, 43
 Шлосберг Лев 182
 Шмелев Александр 184
 Шмелева Светлана 184
 Шнитке Альфред 18
 Штраус Иоганн 11
 фон Штудниц Эрнст Йорг 148
 Шубин Павел 28
 Шульман Екатерина 182
 Шумаков Сергей 83
 Шуман Роберт 114, 117
- Щедровицкий Георгий 87
 Щедровицкий Петр 87
- Эйдельман Натан 146
 Эйзенхауэр Дуайт 165
 Эйнштейн Альберт 120
 Эйхман Адольф 175
 Эко Умберто 22, 23, 88, 98
 Энценсбергер Ханс Магнус 102, 133, 175
 Эпельбуэн Анни 78
 Эпплбаум Энн 181
 Эрдман Николай 48
 Эренбург Илья 28
- Юдин Борис 56
 Юткевич Сергей 27
- Ягланд Турбьерн 186
 Ягодкин Владимир 55–57
 Якир Петр 39
 Яковсон Анатолий 30
 Яковлев Александр 67
 Яковлев Анатолий 67
 Яковлев Егор 59
 Янович Ян 105
 Яровая Ирин 143, 182
 Яроцкая Зинаида 146
 Ясин Евгений 139
 Ясина Ирина 182
 Ясперс Карл 47, 117, 127–128
 Ястржембский Сергей 57

ОГЛАВЛЕНИЕ

Девочка из Ажурного дома. Мальчик из Чеченгородка	5
Быть как все	10
Не быть как все	16
<i>Люди-ключи: Юлия Добровольская</i>	20
Университеты подлинные и мнимые	27
<i>Люди-ключи: Александр Мень</i>	32
Университеты подлинные и мнимые (продолжение)	39
<i>Люди-ключи: Владимир Кормер</i>	43
Персональная пражская весна	55
<i>Люди-ключи: Мераб Мамардашвили</i>	69
Школа как европейский проект: истоки и смысл	86
<i>Письмо автору. О гражданине и гражданском просвещении</i>	88
Школа как европейский проект: истоки и смысл (продолжение)	99
<i>«Культур много, цивилизация – одна»</i>	122
Можно ли знать то, чему не учился...	132
<i>Люди-ключи: Elective Affinity, «Избирательное сродство»</i>	140
<i>Именной указатель</i>	187

Литературно-художественное издание

Андрей Колесников

ОПЫТ СВОБОДНОЙ ЖИЗНИ
Юрий Сенокосов, Елена Немировская
и Школа гражданского просвещения

Дизайн оригинал-макета Татьяны Коршуновой
Обложка Андрея Бондаренко
Выпускающий редактор Евгений Дрогов
Корректор Дарья Стахеева

В книге использованы фото Олега Начинкина,
а также из личного архива главных героев


Издательство «О-Краткое»
610020, г. Киров, Динамовский проезд, 4
Тел.: +7 (8332) 32-28-39
E-mail: okrat@okrat.ru

ISBN 978-5-91402-222-5



Подписано в печать 20.10.2017. Формат 70x84/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,42
Тираж 1500 экз. Заказ № ВЗК05198-17

Отпечатано в АО «Дом печати – ВЯТКА»
610036, г. Киров, ул. Московская, 122

A photograph of an elderly couple, Yuri Senokosov and Elena Nemirovskaya, against a dark blue background. Elena is standing behind Yuri, with her arms around his shoulders. She is wearing a black sleeveless top over a light purple short-sleeved shirt, a necklace with a red pendant, and glasses. Yuri is wearing a white button-down shirt and glasses. Both are smiling.

Юрий Сенокосов и Елена Немировская — представители поколения «шестидесятников», поколения «оттепели». Они шли по жизни в кругу самых известных деятелей эпохи, и сами были из их числа. Позже Юрий Сенокосов помог вернуть нам наследие лучших русских философов и мыслителей. А в 90-е годы Юра и Лена продолжили свое служение гражданскому просвещению и основали Московскую школу политических исследований. Цель которой — создание современной и свободной России на фундаменте идей Просвещения. Об этом прекрасная книга Андрея Колесникова.

ВЛАДИМИР РЫЖКОВ

